

**Николай КЛИМОНТОВИЧ**

**ГАДАНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ**

рассказы ранних лет

Москва  
Издательство «БПП»  
2010

<b>Из цикла «Синица в руках» (1970-1972).....</b>	<b>3</b>
СИНИЦА В РУКАХ .....	4
БОГАТЫЕ ЛЮДИ.....	14
КАК ДЕЛА, КИСУЛЯ .....	22
<b>Из цикла «Запретная зона» (1974 - 1976) .....</b>	<b>27</b>
ПРЕЗЕНТ.....	28
ПОЧЕКАЙ .....	35
<b>Из книги «Ранние берега» (1977) .....</b>	<b>43</b>
ШАЛЫЙ.....	44
ПУСТЕЕТ ВОЗДУХ .....	53
<b>Из книги «Фотографирование и проч. игры» (1990) .....</b>	<b>72</b>
УРОКИ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ .....	73
МОТИВ КОРТАСАРА: УВЕЛИЧЕНИЕ .....	86
НАРУШЕНИЯ В ПЕЙЗАЖЕ .....	101
ОБРАЗ ЖИЗНИ, МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК.....	119
<b>Главы из романа «Дорога в Рим» (1995).....</b>	<b>126</b>
ГУЛЯ.....	127
ПРИБЛИЖЕНИЕ В ХОРОВОДЕ .....	166
ФОНТАН И АННА.....	194
НАВИГАЦИЯ В ФИОРДЕ .....	214
<b>Из книги «Далее везде» (2002).....</b>	<b>237</b>
ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ И НЕБА.....	238
<b>Из книги «АЗБУКА ИМЕН» .....</b>	<b>258</b>
ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ.....	259
ПАДЕНИЕ КУРСА .....	273
ПАДАЛИ ЯБЛОКИ.....	278
ГАДАНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ.....	287

Из цикла «Синица в руках»

(1970 - 1972)

## СИНИЦА В РУКАХ

I

Грузовик дал задний ход, въехал на тротуар и остановился.

Иван Кузьмич вылез из кабины, оглядел сквер, увидел старика на скамейке.

Старик сидел на скамейке. На коленях, на газете, лежал кусок черного хлеба.

— Закусываем? — деловито справился Иван Кузьмич, оглядывая сквер.

— Чем Бог послал...

— Как дела?

— Все хорошо, спасибо вам.

— Не за что... Давай, — крикнул он, — сюда подъезжай!

Грузовик въехал на газон.

— Выгружать? — спросил шофер, высунувшись из кабины.

— Погоди. Эй, старик, встань-ка.

Старик суетливо свернул газету, сунул сверток за пазуху, отошел в сторону.

— Пойди сюда, — позвал Иван Кузьмич шофера.

Тот подошел нехотя:

— Чего их двигать-то, — сказал он, — нечего их двигать, пушай так стоят.

— Не дорос, видать, до понимания. — Иван Кузьмич сплюнул досадливо. — Люди ж сюда отдыхать приходят. А людям что надо — чтоб красиво было, не ша-

ляй-валяй. Берись.

Они подняли скамейку.

— Так, на меня чуть подай, — покрикивал Иван Кузьмич, — теперь влево чуть-чуть. Немножко. Так хорошо. Видишь — аккурат напротив той стоит. А урны сюда и сюда...

— Черт с ними, с уриами. Все одно — кто ими пользуется. Кому надо чего бросить — и так бросют. Вон сколько мусора валяется...

— Удивляюсь я на тебя — где так рассуждать учили?! О стране подумай — все б так рассуждали, порядка б никакого. А порядок нужен, чтоб не как попало...

Старик стоял рядом.

Иван Кузьмич забрался в кузов и принялся выбрасывать оттуда свежеевыкрашенные жестяные урны. Урны раскатывались по блеклой траве. — Эту вон туда, — приговаривал он. — И еще одну туда... Красиво должно получиться, верно?

— Верно, красиво, — тихо сказал старик. — Только вот спросить не у кого — правда иль нет? Ума нет — у русских не займешь. А правду — за пять рублей не купишь. — Он повернулся и побрел прочь, продолжая бормотать про себя.

—Эй, старик, теперь и посидеть можешь.

— Спасибо, Иван Кузьмич, я пойду, если можно.

— Отчего ж нельзя, иди.— Он отвернулся. — Эту вон туда ставь, не с той стороны, с другой, слышишь! Слепой что ли...

— Ты брось командовать,— огрызнулся шофер. — Я тоже командовать могу. Командовать все умеют...

## II

ПРИНОСИТЬ И РАСПИВАТЬ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ,  
— гласит плакат на стене.

— Чего с ими, с делами, случится, — говорил Федорович, держа по привычке руку в кармане халата, — дела в порядке.

— Слава Богу, — кивнул человек, слушавший его. Он отодвинул тарелку из-под супа, вытер губы ладонью и придвинул второе. — Слава Богу...

Рядом с ним на столе стояла клетка. В клетке на перекладине сидел щегол. Одиноким пожилой еврей щегла повсюду носил с собой.

—... А вчера двое сидят вон там, — Федорович указал на столик у окна, — вижу — один тянет бугьлку из портфеля, а с портфелями оба, интеллигентные. Подхожу — они ноль внимания, а тот, в шляпе, распечатывать собирается. Граждане, говорю, у нас не положено. Объявление, говорю, видели, для вас написано. А этот, в шляпе, мне книжечку показывает, красную, понимаешь, мол, удостоверься...

— Боже мой, — покачал головой еврей и сунул щеглу в клетку крошку хлеба.

—... Порядок для всех, говорю. У меня самого книжечка не хуже — вы знаете, капитаном в отставку вышел.

— Капитаном, — эхом отозвался собеседник. — Как же, как же...

— Так и ушли, не выпив.

Старик вошел и остановился на пороге.

Владелец щегла доедал второе.

— Так что работем помаленьку, — закончил Федорович, — на посту, так сказать. — Он увидел старика, подозрительно оглядел его.

— Продаешь, — спросил пожилого еврея угрюмый пьяный мужик, сидевший рядом.

— Щегла?

— Да, птицу продаешь?

— Продаю.

— А что — поет она?

— Раньше пела, — вздохнул человек со щеглом.

Мужик повернулся к нему вместе со стулом.

—...Она ученая, хоть и птаха божья. Фью-фью, — постучал он пальцем по клетке — птица тревожно завертела головой.

— А ведь врешь, что дрессированная, — задохнулся вдруг мужик. — Врешь, падло, морда жидовская. Крылья у ей подрезаны, лететь она не может...

— Такая и была. Бог свидетель — такой и подобрал. — Человек со щеглом говорил быстро, проглатывая слова.

— Продаешь, — зашелся мужик, рванулся со стула и повалился на пол.

— Боже мой, — шептал человек со щеглом.

Мужика сгребли под руки. Он плакал и ругался.

— Нажрался, — сказал Федорович ему вслед. — Видно с собой принес.

— Какие люди, — качал головой человек со щеглом, — Боже мой...

Старик сидел у окна,

— Красиво все вокруг, — шептал он, — а правду не у кого узнать. За пять рублей ее не купишь — вот в чем

беда.

Он развернул на столе газету, достал четвертинку из кармана.

У него дрожали руки, когда он снимал пробку.

Пряча бутылку под стол, он выливал водку в стакан.

— Для кого написано, — загремел по залу голос Федоровича. — А?

Старик застыл на мгновение, потом затряс бутылку, выжимая из нее последние капли. Затем, полуотвернувшись, едва не расплескав водку, поднес стакан ко рту.

— Кому говорят, мать твою...

Старик глотал, давясь, водку, скосив глаза на белый халат. Струйка водки текла по седой щетине на подбородке.

— Прекратить, — выкрикнул Федорович и дернул старика за рукав.

Стакан дрогнул у того в руке, Выскользнул, покатылся по столу. Водка закапала на пол.

— Гражданин начальник, — только и шепнул старик. Он, не отрываясь, смотрел на мутный ручеек на столе, на прозрачные капли, падающие вниз.

— Ты посуду бить!..

Старик сунул пустую бутылку за пазуху, собрал хлеб. Залитый стол будто очаровал его.

Когда он плелся к выходу, человек со щеглом проводил его глазами.

Держа руку в кармане халата, Федорович вернулся на свое место под плакатом. Его халат сверкал белизной, как бакен, в дымных сумерках полуподвала.



### III

Старик шел вдоль витрин, в которых отражались прозрачные от неба лужи.

Он шел и говорил сам с собой.

— Я все могу: пахать, сеять. А скажи стебелек сорвать — не могу. Русский человек не может. А ты заставь его. Сам себя ущипнешь — и то больно, а как другие за шею возьмут да и начнут крутить — все сделаю, скажу, только отпусти...

Он шел, останавливался иногда, будто раздумывая — упасть ему здесь или идти дальше.

К крыльцу он подошел сбоку, стоял молча, пока дворничиха сама его не заметила.

— Пришел. Ты где ж, ядрена мать, пропадал два дня?

Старик по-прежнему молчал.

— Как жрать захочется, так приходишь.

Старик смотрел себе под ноги.

— Иди в дом. Все одно — толку от тебя не добьешься.

Старше спустился в подвал.

Он вошел в комнату — здесь стоял густой запах жилища. Прошел в чулан — на кровати лежали матрас и старое ватное одеяло. Старик лег, не раздеваясь.

Он очнулся и долго лежал, не двигаясь, в темноте.

—... Теперь садик один остался, за кинотеатром — там сегодня скамейки выкрасили, завтра урны расставим и, почитай, к весне готовы, — громко говорили в соседней комнате.

— Иван Кузьмич, вот в честь весны и выпейте.

— Да что ж мы с вами все на одну тематику разговариваем. Не пью я, нельзя, как выпью — знаете, так и схватывает...

— Удивляюсь на вас — такой вы... не такой какой-то. Кругом пьют — а вы нет...

Старик прислушивался в темноте — голос дворничихи звучал незнакомо.

— ... Я ж для вас и покупаю.

— А что ж для меня. Вы для мужа покупайте.

— Да какой он мне муж. Живет — и Бог с ним.

Замолчали. Старик открыл глаза. Из комнаты пробивалась полоска света.

Старик встал, подошел к двери.

В щель он увидел накрытый стол. Самовар на табуретке. Ивана Кузьмича — он крутил в руках ложку. Дворничиху — ее красное лицо с будто вымазанными маслом губами.

Стрик открыл дверь.

— Вот, шляться снова пошел, — жалостливым чужим голосом говорила дворничиха, — бутылки по помойкам собирать, есть ему не дают будто. А все она, водка эта самая...

Старик будто не слышал.

Он вышел из комнаты, поднялся по лестнице, отворил дверь на улицу.

#### IV

Был вечер; в лужах плавал свет далеких красных

абажуров.

—... А вот прилетит какой червяк космический, будет порхать с цветка на цветок и не поймет, чьими страданиями это его порхание покупается. Знать не будет, что кому-то руки заламывают, и в пах ногой, ногой. Не увидит он, кто свободу ему покупает...

В сквере старик опустился на лавочку и расстелил на коленях газету.

— Вечер добрый, — услышал он вкрадчивый голос. И вздрогнул.

Перед ним стоял человек со щеглом. Клетку он держал под мышкой.

—... Вот, погулять с ним вышли.

Старик протянул ему хлеб. — Покушайте. И ее покормите. Птица — она ведь в клетке. Ей, птице, только хлеб и нужен...

— Спасибо, мы ужинали сегодня. Правда?

Вопрос был обращен к птице. Щегол ничего не ответил.

— А я поем, — сказал старик. — С утра не дали мне поесть. — Он откусил хлеб и медленно пережевывал его.

— Я слышал, вы синичку продаете, — сказал он чуть погодя.

— Не синица это. Щегол — птаха божья.

— В клетках все птицы — синицы, — сказал старик.

— Да-да, — закивал человек со щеглом. — Еще половица есть такая — синица в руках лучше, чем журавль в небе...

— Не знает никто — кому и где лучше. — Старик, наверное, не расслышал. — Синице, думаете, в руках

лучше, чем журавлю там?

— Иметь синицу лучше, — тихо ответил человек со щеглом.

— Зачем продавать тогда?

— Не знаю... Я ведь за просто так продаю.

— И покупают?

— Нет, не покупают. Для всех «просто так» — слишком дорого.

— А вы за пять рублей попробуйте.

— Тогда купят, — сказал человек со щеглом. — За пять рублей купят. Просто так никто не берет, а за пять рублей пожалуйста.

— Ну так что ж?

— А я не хочу продавать. Моя она, птичка-то. И ей со мной хорошо, гуляем вот...

Старик молчал. Он аккуратно собирал крошки с колен. Собрал, протянул их птице. Щегол забился в угол клетки. Старик положил крошки в рот.

— А вот бутылка,— сказал он неожиданно, достав из кармана пустую четвертинку. — Рассказывал мне кто-то, очень давно, про кладбищенского сторожа — знаете?

— Что-то не слышал.

— Из каждой свежей могилы сторож брал щепоть земли. Он запечатывал землю в бутылки, потом выезжал на лодке далеко в море, где нет людей, совсем никого, и выбрасывал бутылки в воду...

Старик замолчал. Человек со щеглом молчал тоже.

Щегол прыгнул в клетке, ударился о сетку и уселся на жердочке, пугливо озираясь.

—... А потом из бутылок выходили души. И все бы-

ли ему родные. И не могли обидеть друг друга... Много родных у него было.

— Души, значит. Души — они самые благодарные. Да только здесь-то их нет. Где они — там что ли?— И он показал на небо. Небо было тепным и пустым.

— Да и здесь они где-то быть должны. Где только не узнать. Души — они благодарные, верно. И справедливые. И свободные...

Тут голос старика оборвался.

— Вот вы слушаете меня, — прошептал он, — и я боюсь говорить. Может, я чего не так скажу. Не так, как положено...

— Да вы меня не бойтесь, — сказал человек со щеглом, — меня можно не бояться. — И он отвернулся.

— Фью-фью, — сказал он потом, — фью-фью...

## БОГАТЫЕ ЛЮДИ

В ресторане одесского морвокзала сотрудник советского посольства в Ливане Алексеев в ожидании отхода парохода в Бейрут заказал пятьдесят «Экстры», бутылку лимонада, рыбное ассорти и шашлык по-карски. Ему не было и тридцати пяти, редкие волосы аккуратно облегли большую лысину, из нагрудного кармана торчал треугольник платка.

Не успела официантка заботливо поставить перед ним графинчик, как к столу подошел товарищ в штатском и попросил разрешения сесть. На нем бнд неприглядного вида костюм, галстук отсутствовал, рубашка была не застегнута на две верхние пуговицы, пышная шевелюра всклокочена, от него пахло пивом.

Сотрудник посольства недовольно оглянулся — все столики вокруг были заняты, — и промямлил неопределенно что-то вроде «пжласта». Товарищ уселся, поворочился на стуле, глянул на графинчик и принялся изучать пространство непосредственно над головой сотрудника Алексеева. Тот ждал рыбное ассорти. Он скользнул глазами по широкому красному лицу соседа, отметил вытатуированный якорь у того на руке, пальцы с плоскими, очень коротко подрезанными ногтями, не знавшими пилки.

— Да- сказал вдруг товарищ и хрустнул стулом.

— Чего это он дакает, — подумал сотрудник Алексеев, — каждый станет дакать...

— Да-а, — повторил тот — дела-а.

— Это вы мне, — спросил Алексеев, — или просто так, вслух намекаете?

— Я не намекаю, — мрачно уточнил товарищ, — я специально говорю, чтоб разговор поддержать.

Сотрудник в раздумье посмотрел на собеседника.  
— А зачем его поддерживать?

— Скучно. А поговоришь — легче.

— Хитер, — подумал Алексеев. — Это он чтоб поднесли или с целью получения? — И демонстративно налил себе водки.

— Водку пьешь? — все также мрачно осведомился собеседник.

Алексеев сей риторический вопрос проигнорировал, постучал нервно пальцами по столу. Ждать пришлось недолго — рыбное ассорти плыло к нему на подносе, будто поддерживаемое бюстом официантки. Алексеев просветлел, забыл о подозрительном соседе, расстелил на коленях салфетку и подцепил вилкой кусок красной рыбы.

— А такую видал? — неожиданно спросил сосед и ткнул Алексею в нос импортную шариковую ручку.

Алексеева аж передернуло: да у меня таких вагон, понятно?!

— Ты в дырку смотри, сюда.

Алексеев подумал и посмотрел в дырку, на свет — на фоне черной драпировки голым задом к объективу стояла на коленях знойная брюнетка и призывно улыбалась, извернувшись через плечо.

— А теперь крути.

Алексеев крутнул: блондинка с отвислой грудью, сидя на стуле снимала чулки — последнее, что на ней осталось. Алексеев заинтересованно крутнул дальше. Дойдя вновь до коленопреклоненной брюнетки, он от-

дал ручку.

— Ну?

— У меня есть тоже, — тоном знатока сказал Алексеев, — но здесь попадаются оригинальные... м-да...

— Она давно у меня, — объяснил владелец ручки, бережно пряча ее в карман, — друг в Венгрии служил — подарил. Два года уж с ней не расстаюсь. — Он замолчал.

Алексеев опрокинул рюмку и закусил рыбой.

— Такого добра на держу, — сказал он, — работа!  
— Он вынул из кармана пачку «Кента».

— Понятно. Но ручка она для того и сделана, чтоб никто не догадался. — И он достал «Беломор». — Саша, — представился татуированный. Я вообще-то на катере хожу.

— Алексеев.

Привстали, пожали друг другу руки. Подошла официантка. Капитан заказал то же самое, что и у Алексеева, плюс графин «Кокура». — Сладкое люблю, — пояснил он, — запивать.

— Где служишь?

— В Мурманске, в погранвойсках. А ты?

— У меня там работа, — махнул Алексеев в сторону Бейрута, — заграничная. Из отпуска еду.

— Я тоже.

— А сам откуда будешь?

— Из-под Тамбова.

— Земляки!

— Да неуж?

— Точно!

— И ты тамбовский?



— Ну да.

— Выпьем.

— За это надо.

Выпили.

— Земляки, значит, — проговорил Алексеев, закусывая лимоном, — выходит так.

— Так точно. Еще по одной сразу, чтоб завязалась.

— Чего — завязалась?

— Да это в порту у нас так говорят. С одной, говорят, если сразу вторую не принять — может плохо быть.

— Да ну?

— Точно. Чтой-то в организме происходит.

— Эх, мне на пароход. Но если так...

Выпили.

— Плаваешь?

— Угу.

— А я боюсь.

— Чего бояться-то?

— Боюсь укачает.

— Не боись. Еще выпьем?

— Много будет.

— Не будет. За море выпьем.

— Эх, ладно.

— На, на, кокурчиком запей, сладеньким. —

— Не-а, не хочу.

— Запей-запей.

— Мешать боюсь.

— Не боись... Деньги текут — беда, — сказал капитан после четвертой.

— Как в песок, — согласился Алексеев, пережевывая шашлык.

— Была тысяча рублей — мамане шестьсот, потом здесь в Одессе — и на мели, полсотни в кармане.

— У меня шестьсот в рублях, остальное сартифика-  
тами. Жене шубу, парню кое-что, себе там по мелочиш-  
ке — и тоже на мели. Двести на руках ~ не знаю как  
доеду.

— Да-а. А я вот на катере, значит. Море люблю. —  
Он задумчиво разлил водку. — Но как недельку погоня-  
ешься за кем-нь-то, так пропади оно пропадом.

— Работа!

— А как у вас-то там, в этом...

— В Бейруте?

— Во-во. А это где?

— Там, где арабы. Там сложная обстановка, очень  
сложная.

— А как насчет этого?

— Плохо. Ответственность большая. Вроде бы и  
мало наших, русских, а работы все равно — во!

— Жарко там?

— Ой жарко...

— А у нас — холода. Катер обледенеет — фр-р. Но  
зато живем — люкс. «Дары моря», девахи сами на шею  
вешаются. — Капитан неопределенно повел рукой. — У  
меня их четыре.

— Женат?

— Не. Хотела одна фифа...

Сотрудник вздохнул.

— Я, знаешь, кофточек целый чемодан привез. И  
чулки. И тапки такие с тесемочками — все брали.

— У нас тоже добра завались. Я мамаше француз-  
ские паутинки привез. Ей, правда не надо, в деревне-то,

но хоть соседям покажет. У меня кореш в таможне — все достает. А чего творится — етить твою мать. У одной — веришь нет — золото в трусиках нашли.

— Ну!

— Да, туда зашила.

— А как нашли. Щупали?

— Не, приборами какими-то.

— Техника. А у нас недавно случай был — выслали одного инженера.

— Куда?

— На родину поехал. Он, это, пшено в конвертах получал, из Москвы.

— А зачем пшено?

— Для экономии. Хотел вторую машину купить и дочке кооператив.

— Ну дурак.

— Почему?

— Надо было бандеролями...

— Все равно не обманешь.

Заказали еще бутылку. Обоим становилось весело.

— А я «Волгу» хочу купить новую, — сказал капитан.

— У меня «Фиат».

— У меня «Москвич» был — братану подарил. Во «Москвич»! Мне его прямо с завода выкатили.

— У меня «Фиат» из первой партии. Сейчас в Москве гарнитур заказал. Отличный будет гарнитур, доложу тебе.

— Я мамане румынский достал. Еще шубу французскую.

— У меня жена в такой ходит. За триста двадцать?

— Да ты чего, семьсот отдал, натурально.  
— Под барса что ль?  
— Чето-чего?  
— Под барса, говорю?  
— Не, не под него. Красивая.  
— Под барса тоже красиво.  
— У меня красивше.  
— А видал унитаза чешские?..  
— У меня на книжке тысяч семь. Или восемь...  
— А как, у вас там, стреляют? — спросил, наконец, пьяно капитан.  
— Евреи, суки, стреляют. А так просто не, — также пьяно отвечал сотрудник Алексеев. — У нас это... борьба идеологий. Мы оба с тобой охраняем стр-рану!  
— Ты тоже на катере?  
— Не, я это... я сухопутный.  
— А я подумал — на катере.  
— Сухопутный! Понял, что его значит, — подмигнул Алексеев.  
— Я понял — ты качки боишься.  
— Врешь — не боюсь.  
— Правильно, не бойсь. Сначала бензина понюхай, проблюешься — потом привыкнешь.  
— Не буду блевать.  
— Тогда за дружбу выпьем?  
— За дружбу наливай... — Ты того, много не говори, — шепнул сотрудник, когда выпили.  
— Почему? — удивился капитан.  
— Я по-дружески. Ты ж сам говоришь — за дружбу.  
Тс-с-с!  
— Ладно. Выпьем.

— Все!

— Почему это так — все?

— Не положено.

— Ну, со мной, а? За меня, а? Эа Сашку?

...На причал капитан вывел Алексеева, придерживая за талию. На рейде покачивались корабли — их огоньки плясали в зыбкой воде. Настала ночь. Вокруг стало темно. Все было большим — и море, и темнота, и корабль у причала, на котором сотрудник Алексеев уплывал далеко-далеко.

— Са-аня, прощай, друг!

— Прощай, Алеша. Эге-гей!

А где-то над головой роились спутники в холодном космическом пространстве, и мерцали звезды, и мигали, и качались, и падали. Большой корабль отваливал от Одесского причала.

— Леша-а.

— Прощай.

— Передавай привет там нашим, слышишь?

Корабельные огни уплывали во мглу; капитан все стоял, все смотрел в черную даль, и был горд, и счастлив, что с настоящими людьми, плечом к плечу, защищает он эту огромную, лежащую сейчас во тьме, землю.

## КАК ДЕЛА, КИСУЛЯ

В Москве, в доме десять по улице Воровского (вход под арку), на первом этаже в коммунальной квартире в маленькой комнате, где стоит запах одеколона «Милый друг», трепещут огненные пионы на занавесках, на стенах висят репродукции Дали, несколько мужских портретов, цирковая афиша с наискось написанными автографами и большое фото ансамбля «Холидей он айс», запечатленного у памятника Пушкину, живет бальзаковского возраста тетушка Матильда с неопределенной породы песиком Тони, которого он упорно считает спаниелем. Каждый вечер тетушка Матильда достает пеструю рубашку с кружевными манжетами, подводит глаза, пудрится, надевает парик «плэйбой», прицепляет поводок к ошейнику Тони, и они отправляются на проспект. Они доходят до кафе «Ивушка», останавливаются неподалеку от троллейбусной остановки, и, пока Тони обнюхивает край мостовой, тетушка Матильда беспокойно вглядывается в проходящие мимо троллейбусы. Так он может стоять долго, очень долго, потому что дел никаких у него больше нет. Мимо за стеклами проплывают лица; люди глазают на тетушку Матильду, но он не обращает на них внимания — только одно лицо ждет он увидеть...

Он много знает: взлеты и падения, курорты и сибирские пересылки, радости, обиды, минуты отчаяния, тошнотворный запах газа в пустой квартире, популярность, даже своеобразную славу, цветы, допросы и любовь,— много любви, море любви,— любовь самозабвенную, безумную, страстную и грубую, плотскую, чув-

ственную. Здесь он любил ум, складку презрительного рта, слова, манеру говорить, интонации, жесты, милые привычки, там — силу, будоражащий запах нота и неутолимые требования любви еще и еще...

...— Ты слышишь, Тони, — говорит тетушка Матильда, и улыбка появляется на его лице, — Тони, это он.

На лице тетушки Матильды написана нежность. Он машет рукой, привстает на цыпочки — равнодушные люди смотрят на него из троллейбуса, а то, одно, любимое смазливое лицо, лицо с кривящимися в самоуверенной усмешке губами проплывает мимо.

— Ты слышишь, Тони...

Это лицо любит тетушка Матильда — усики над полными красными губами. Тетушка Матильда любит вьющиеся волосы, родинку на паху, грубые руки, жадный секс, вульгарные манеры и привычку бросать окурки на пол...

Всю жизнь он любил таясь. Страхась смешков за спиной, наглых выходов, пошлых улыбок. Панель, люкс в «Национале», госдачи, общественные уборные, нары и парковые скамейки, кулисы цирка и подвалы художников — везде и всегда отдавал он себя с оглядкой, второпях, беспокойно.

Он никогда не мучился своей любовью — он считал ее прекрасной. Женщины — это осталось с детства — вызывали в нем страх и отвращение. Позднее, приглядываясь к ним, он видел только лицемерие в любви, откровенную жадность, отсутствие простоты в их чувствах, нечистоплотность в отношениях. Он так глубоко презирал их всех: дешевых проституток и дорогих, «порядоч-

ных» женщин,— что не давал себе труда показывать это.

— Как дела, милочка? Как жизнь, ягодка? Какую кофточку ты отхватил! Бог мой, да ты все хорошеешь. Привет, петушок, все отбиваешь наших кадров!..

А он отвечает, он улыбается.

Он помнит все, что пережил когда-то, и ни о чем не жалеет.

Как важно сохранить все в тайне. Ты же понимаешь, при том положении, которое я занимаю... Угрозы, сжатые кулаки, потом слезы — дерьмо. Лысеющая голова в узком просвете, взгляды из-под дверной цепочки. У того милиционера, что идет справа, на руке рыжие волосы, а цветы остались лежать на подоконнике в подъезде.

— Попался, голубчик, попался, плутишка, — ласковая гнусава скороговорка за спиной.

— За что?

Здоровенные кретины двумя ударами превращают рот в сладкое месиво. А швед, наверное, еще не проснулся в своем номере в «Метрополе». По утрам он старательно размахивает руками. У него атласные плечи, он смеется беззаботно и просто. Здесь: бетонный коридор и свет в лицо на допросах. Чувство такое, что губ больше нет — нечем шепнуть: о боже!

На нарах — очередь, в караульной — удары сапог, плевок, шлепнувшийся рядом с лицом...

... А мальчику только двадцать один. Усики отпустил впервые. Он совершенно неотесан и груб, бедняга. Сначала он не знал, как это делается: раскрыл рот, вспотел, глотал слюну — кадык так и ходил у него вверх-



вниз. А потом застонал: больно и приятно ему было, должно быть, и остро очень. Понравилось — много ли надо.

Потом мальчик изменился, а думал: мир стал добрее к нему. Его любят впервые, и он научился улыбаться вот так, кривя губы. Бедный, у него грубые руки, не знают, что ищут, все шарят, шарят, лапают. Подавать бы по утрам кофе дурню в постель, а вечером — идти рядом.

Тетушка Матильда стоит на остановке, смотрит на милое дурашливое лицо: он так горд — водит троллейбус. Сидит впереди и покрикивает на пассажиров во время посадки. Вот заметил, скривил губы, делает вид, что не замечает, — бог с ним.

— Тони, он придет? Ждать?

Праздный вопрос — все равно ждать, даже если и не придет... Сейчас вечер. Горит торшер. Пионы на занавесках, как целующиеся рты, полные крови и боли, не чувствующие губ. Свет падает в лицо, а за ним в темноте чьи-то глаза и усмешка — педерасты из американского балета на льду сладенько улыбаются с фото.

— Спишь, Тони?

Тони не спит.

— Он придет?

Тони не знает.

— Будем ложиться?

Тони уже улегся. «У спаниелей не бывает таких длинных хвостов», — с грустью думает тетушка Матильда и продолжает считать Тони спаниелем...

Он приходит неожиданно. Неловко усаживается в кресло. Деланно смеется. Закуривает — руки дрожат.

Как бы кто не увидел! Как бы кто не узнал! Не пронюхал, не сболтнул, не накапал, не настучал! Ведь стыдно, неловко, боязно, но пришел... Тетушка Матильда сделает ему приятно. Он как с цепи сорвется: быстрее, быстрее, а руки судорожно хватают воздух. Потом второпях застегивает штаны.

В стену стучат: двенадцать уже, скоты, милицию вызовем. Он уходит ссутулившись, вобрав голову в плечи. Хлопнула дверь, в комнате остался запах его ног. За стенами — шепотки. Их не слышно, но тетюшка Матильда ощущает их физически, как привычное бремя...

Так и живет тетюшка Матильда — хуже ли, спокойней ли, чем мы с вами?

Каждый вечер он надевает пеструю рубашку, и они с Тони отправляются на проспект.

Сегодня в городе душно, значит, должен быть дождь. Они стоят у остановки. За стеклами троллейбусов смятые лица. Возле кафе знакомая блядь ждет клиента.

— Ха-ха, тетюшка Матильда, пополнел, педик, а ведь ты стареешь. Кисюля, как дела?

Из цикла «Запретная зона»  
(1974 - 1976)

## ПРЕЗЕНТ

*Тем из вас, кто робок в любви*

Случилось так, только собрался мой приятель жениться, как привез ему дядя по материнской линии из Лондона удивительный презерватив. Получив подарок, приятель невесте ничего не сказал, пошуршал целлофаном, сувенир разворачивая, а развернув — глазам своим не поверил. Долго проверял он презент нарастяг и на ощупь, смотрел на просвет и нюхал, а потом обзвонил нас, хвастаясь, и приглашал смотреть.

Я зашел к нему после работы. Не поздоровавшись толком, он увлек меня за лацкан к секретеру, щелкнул замочком:

— Вот он!

Презерватив и впрямь был баснословен,

Легчайшего веса и тонюсенький, прочности неимоверной, был он шелковист, безразмерен и маскировочно-телесного цвета. Но и это еще не все. В то время как наши отечественные изделия бесхитростны, словно воздушные шарики, зарубежный их собрат не имел вовсе крепежного ободка, видно рассчитан был обливаться, как лайковая перчатка, и обладал секретом. Из пористой резины, легкой, мягкой, как бы дышащей, на конце его была присовокуплена к самому чулку еще и пятисантиметровая шишечка. На глаз ее было и не заметить, на ощупь, верно, не определить, так что был это не презерватив, а как бы иллюзия и мечта, не менее того.

— Ему сносу не будет, — заявил приятель с напором. Только тут я разглядел как ново выглядит и он сам,

и его жилище. Повсюду в комнате были признаки будто сборов в дорогу. Справочники по сопромату, книги по вакуумным приборам, брошюра до технике безопасности и логарифмическая линейка — все было сринуту со стола, разбросано и валялось до углам. На столешнице оставался лишь толстый словарь Мюллера и глянцевая инструкция на четырех языках.

— Я перевел до середины, — сказал приятель негромко, — там написано, что это последнее слово. Там сказано, что он — абсолютно универсален, я дословно привожу.

И тон его, и лицо настораживали.

Был он очень трезв, бордовые жилки под глазами и на переносице исчезли вовсе, необычно и с вызовом свеж.

— Сегодня первая примерка, — пояснил он, уловив мой встревоженный взгляд, — в девятнадцать ноль-ноль...

Через неделю я застал его лежащим в мятых брюках прямо на скомканных простынях, всклокоченным, но блаженно довольным.

— Старик, — произнес он мечтательно, — ты не поверишь, я только теперь начал жить.

— У тебя была Лена? — спросил я осторожно, на всякий случай.

Леной звали его невесту. Он стал близок с ней в день выпускного бала в школе, и они были вместе все студенческие годы.

— Лена? — вскричал он, едва услышав мой вопрос, — кто такая Лена! — И он посмотрел на меня диковато. — Слушай, я его стираю.

— Кого? — переспросил я ошарашено.

— Презерватив. Милый мой, я стираю его в порошке «Лотос».

Он заломил пальцы и заговорил горячечно.

— Ты не представляешь, что это за вещь. Он сохнет в четверть часа, эластичности не теряет, не дубеет, не линяет, не липнет и полностью гарантирует.

— От чего? — спросил я тупо.

— Как — от чего? Не от ОРЗ, конечно. Милый, я ничего не боюсь, — закричал он вдруг и сделал неожиданную «березку». Он стоял на лопатках, выгнув торс, весь потный и красный, будто его душили. Ноги его в давно не стиранных носках выписывали кренделя по обоям, и на стене оставались неверные жирные полосы. Когда я выходил, он прокричал мне в спину:

— Если бы я не знал, что он фабричного производства, я сказал бы, что это индивидуальный пошив!

В подъезде я столкнулся с несказанно тощей девицей, на измалеванном лице которой прочел лишь презрение. Она вышла из лифта и позвонила в его дверь. Даже по тому, как двигала она ягодицами, было ясно, что есть в ее жизни нечто, что делает ее положение много устойчивее, чем у других женщин.

Еще через неделю я позвонил ему.

Он снял трубку и крикнул в нее хрипло:

— Ждите.

Я ждал. В трубке слышались отдаленные звуки борьбы. Наконец, его голос официально и вместе как-то влажно произнес:

— Слушаю.

— Юра, — позвал я его, — ты слышишь меня?

— Слышу, — произнес он отдаленно и как бы в задумчивости. — Я хорошо тебя слышу.

— Что с тобой?

— Я прекрасно слышу тебя, — повторил он невпопад, будто занимаясь еще чем-то.

Вдруг послышался треск и вскрик. Какое-то время в трубке были лишь далекие вздохи. Потом связь оборвалась.

Я сидел у немого аппарата и вспоминал его прежним. Он был тих и романтичен в общие наши годы, весь в юношеских прыщах от раннего созревания и очень честный. Бывало, на уроках он робко чертил в тетрадках зыбкие какие-то профили. Как-то учитель черчения, отложив рейсшину, заглянул через его плечо.

— И это теперь называется ортогональной проекцией? — только и спросил учитель.

Зачастую прогуливая уроки, мы бродили аллеями Нескучного сада. Как-нибудь поздним октябрём по палой листве. Он сокрушался:

— Отчего нам всегда хочется, а им — никогда...

Лена позвонила мне за полночь.

— Что с ним? — спросила она.

Я не мог не врать.

— Поверь, я не знаю.

-- С ним что-то страшное. Мне в голову приходят дикие мысли. Может быть он болен, но не говорит. Может быть, он боится связать меня. Это возможно, ты же знаешь, какой он жутко благородный.

Я знал, конечно.

— Он прячется от меня. По телефону бубнит что-то несвязное. Приходить к себе запрещает, на работе взял

отпуск за свой счет...

И она заплакала.

-- Я не знаю что делать, я не знаю что предпринять.  
Я взяла билеты на «Лебединое озеро».

— Что?

— Во Дворец съездов. Ты же знаешь, он всегда так любил балет...

Балет, я думаю, он терпеть не мог. Но, видно, говорил ей обратное как-то, а она запомнила. Ведь то, во что им хочется верить, женщины схватывают прямо-таки на лету.

— Ты его друг, ты не можешь, не имеет права сидеть сложа руки. Ты должен, должен, должен...,-- твердила она, продолжая горько плакать.

— Я пойду к нему, — пообещал я твердо, внезапно решившись. — Я отниму, проткну.

— Проткни, пожалуйста, — попросила она, жалобно всхлипывая. — То есть о чем ты?

Но я повесил трубку.

У его подъезда я долго стоял в раздумье — с чего начать? Можно было говорить о его здоровье, о его диссертации, о его женитьбе. Но с чего начать?

Кто-то тронул меня за рукав. Это была женщина средних лет, в очках, с хозяйственной сумкой, из которой выглядывали парниковые огурцы, и похожая на учительницу начальных классов: — Вы к нему? — зябким каким-то голосом тихонько осведомилась она. — Буду за вами.

Я взглянул на нее с негодованием и быстро вошел в подъезд. На лестнице, на подоконниках сидели женщины разных лет. Одна была даже с детской коляской.



Две девицы разгадывали кроссворд в «Вечерней Москве». На его двери висела косо записка, написанная коряво и с дрожью: «Без вызова не входить».

Я долго ждал, пока мне открывали. Сперва доносилось из-за двери долгое надрывное кашель, шарканье, вздохи. Потом голос приятеля крикнул:

— Еще только без четверти два, перерыв еще, куда вы претесь!

Но я звонил настойчиво, дверь приоткрылась. Он подозрительно уставился на меня, не снимая цепочки. — Дружище, дружище, — вдруг повело в сторону его челюсть, а на глазах блеснули слезы. — Ми-лый мой...

За мной дверь с силой захлопнулась, потому что кто-то бросился в квартиру следом, успев закинуть в щель пакет с отрезом какого-то материала, завернутого в фирменную бумагу универмага «Москва».

— Милый! — вздрагивал он, хлюпая носом, — ты не поверишь: они приводят подруг и сестер, они идут и днем и ночью. Что делать, я не знаю — что мне делать.

— Сядь, — попросил я его мягко.

На веревке, протянутой из угла в угол, болтался прицепленный презерватив. Приятель бессильно опустился на диван, безвольно свесив кисти рук. Он постарел, седина пробивалась в его висках, плечи то и дело вздрагивали от приступа глубокого кашля.

— Все еще можно поправить. Лена взяла билеты в балет, ты пойдешь с ней на «Лебединое озеро».

— Я не смогу, — тихо выдохнул он.

— Почему?

— Я не смогу, мне не в чем, у меня нет больше сил...

— Соберись, — приказал я, — подтянись, мужайся.

— А ты думаешь, я еще смогу пойти в театр?

— Что за глупости?

— Я смогу еще пойти с женщиной в театр, — посмотрел он на меня снизу невыразимо жалобно, но с блеснувшей вдруг в глазах надеждой. — И потом в антракте — пива в будете? А после, после по вечерним улицам...

— Конечно.

Вдруг он привстал и взглянул на меня ослеплено.

— Я знаю, — как в лихорадке затвердил он, — я знаю, что сделать. Я знаю, я пойду на балет хоть завтра...

После спектакля, проводив Лену, он заехал ко мне, и мы распили бутылочку. Я сразу заметил какую-то не то грусть, не то мудрость в его далеких каких-то глазах. — Женюсь, старик, поздравь, — сказал он бесцветно, но с облегчением.

На нем был новый костюм из дакрона. Чтобы отвлечь его, я спросил:

— Откуда такой? Вроде в отпуске был за свой счет...

— В том-то и дело, — покачал головой он и с болью вздохнул, — в том-то и дело. Есть, понимаешь, у меня на работе еврей один. Так он месяц за мной ходил, все выпрашивал: ты молодой, говорит, что тебе лишних пять сантиметров, а мне надо. Ну вот — я и поменялся...

Он задумчиво смотрел в одну точку. — Знаешь, сказал он, — чувство такое, будто после операции. И рад, что выздоровел, но и то, что вырезали жалко. Еврей-то обманул меня, конечно, костюм надеванный, — добавил он. И вдруг глянул на меня лукаво. — Так ведь и хуй не новый.

## ПОЧЕКАЙ

Семью эту я любил.

И отца, и мать, и дочь.

Эва была долговяза, на полголовы выше меня, в отца, с узкими длинными губами и странным, прыгающим каким-то смехом, но непосредственная вера ее в то, что она будет счастлива, так светилась в лице ее и в глазах, маленьких и чересчур светлых для ее длинного лица, что не могла не подкупать.

Помню, она ввела меня в квартиру впервые за руку и представила родителям:

— Это мой друг.

— Очень рады, — сказали они разом на неплохом русском языке.

Крепкое металлическое рукопожатие мигом очертило для меня всю меру расположенности ко мне пана Станислава, а жена его улыбалась чудесно, стоя в дверях кухни. Я подошел к ручке. Я уже дотронулся губами до ее мягкой и пахнувшей чем-то мягким кожи, как откуда-то из-под ног пана выскочил черный пудель, задрал черную негритянскую голову и то ли гавкнул, то ли крикнул что-то вроде «пше-прошу», но не слишком приветливо, как мне показалось.

Ноги у пани были чудесны. Было ей глубоко за сорок, но пестренький халат кончался где-то над коленями, и ноги Двадцатилетней девушки, стройные, слегка кривоватые по-юношески, с неотразимой полнотой в икрах, с тонкими Щиколотками, без намека на вспухшие вены или на отеки, жили будто сами по себе, будто даже мечтали о чем-то и приглашали помечтать...

Дивно уютные вечера проводил я в их доме. Эва ставила пластинки, варила кофе, зеленоватые обои ее комнаты сулили нам безопасность, и она любила садиться ко мне на колени — если употребимо такое выражение при разности наших габаритов,— скажем, искать точку опоры на моих коленях и целоваться, вздрагивая и как-то потягиваясь всем своим длинным телом, целоваться мокрыми и тугими губами, изредка на миг будто жаля соленым непослушным языком. Какая-то беспомощная страсть была в изгибах ее долгого тела, и неизменно мне казалось, что чем дольше целуется она, тем больше ей хочется плакать.

Пан Станислав учил меня играть в бридж. Я оказался бестолков, но семья великодушно мне прощала это, учитывая, что я русский, а пан Станислав называл даже «европейчиком» за то, очевидно, что я, вопреки всем его представлениям, подхожу к дамам к ручке, за столом не валю салат на брюки, не ем руками, вилку держу в левой руке, и даже рассказал как-то за обедом соленный анекдот, после чего пан хватил в рот ложку русской горчицы — пани выкладывала горчицу из банок в глубокую тарелку — и покраснел, аплодируя веками, давась, плача, а пани слегка тронула своей ножкой мою ногу и ласково покачала головой.

Помню их гостиную, круглый стол, мы сидим вчетвером за картами, на дворе и осень, и дождь, и холодно, и темно, и грязно. А здесь — тепло, и теплая польская речь согревает мое славянское сердце, и пан Станислав нет-нет да расскажет, как участвовал когда-то то в ралли в Монте-Карло, то в Армии Крайовой; на столе — зеленоватая водка «Выборова», вечер льется сам со-

бой, и пудель изредка гавкает из-под стола, не очень, впрочем, дружелюбно, «пше-прошу», а что это значит, черт его знает, а мне хорошо даже оттого, что я не понимаю по-польски, а только вслушиваюсь в эти бесчисленные «бже» и «пши». Изредка чувствую я в своей руке мокрую ладонку Эвы, будто тыкается мне в руку зверек мокрой мордочкой. Ладонка шевелится, пан не замечает ничего, а все произносит «гм-гм», рассматривая свои карты, а пани Ирена легко улыбается — что-то горькое и светлое вместе в ее едва приметно шевельнувшемся рте,— и я провожу указательным пальцем по тыльной стороне Эвиной ладони, и она вдруг вздрагивает, а пани опускает глаза.

Бывали и приемы, с шведским столом непременно, с светло-коричневым бренди, а то и с темным, черным, почти отличным коньяком, с тартинками с икрой, с бог весть чем еще на широких круглых блюдах. Приглашенные бывали разношерстны. Всех объединяло название, данное им великодушным паном,— «русские друзья», и были здесь и мастер спорта по плаванию, длинный и страшно неуклюжий на суше, с прыщавой невестой-перворазрядницей, две девушки из иняза, одна из которых была все же, скорее всего, просто от «Интуриста», краснощекий блондин в американских джинсах из университета им. Патриса Лумумбы, немного походивший на ярмарочного Петрушку и объяснивший мне, что направление в университет дал ему райком комсомола. Затесался на подобный раут как-то и бог весть откуда взявшийся марокканец, с толстыми губами, яркими, почти сиреневыми, с толстым немым лицом и весь в чем-то дальтоническом, испещренном разноцветными

треугольниками, квадратиками, кругами, и довольно наглый.

Многие думают, что если человек марокканец, то непременно должна быть на нем чалма или что-нибудь в этом роде. Это неверно. Был он довольно европейского вида, весь черный и крепкий, но все равно казалось мне, сейчас выхватит он из-за пазухи большой оранжевый апельсин и крикнет: «Марок, ага?» И я вглядывался в него с подозрением.

Впрочем, все здесь были по-европейски. Каждый брал себе тартинку, выпивал рюмку, тут пудель кричал «пше-прошу», все разом проглатывали свои тартинки и принимались жевать.

Марокканец ухаживал за Эвой.

Глядя на них, я замечал некую даже благосклонность в том, как клонила голову Эва, прислушиваясь к его речам, а он говорил что-то тихо, невнятно, должно быть, но увлеченно,— и она слушала его.

На кухне я принялся помогать пани резать колбасу. Доносилась музыка из гостиной, голоса и смех, потом врывался в этот гул низкий голос пана Станислава, все смеялись, и вновь делалась слышна музыка.

Наши руки встретились возле тарелки. Наши глаза встретились, ища друг в друге защиты. Все это было неожиданно, но мы с ней оказались будто выплеснуты из толпы веселых гостей: я — задетый удалью марокканца, она — необходимостью все что-то убирать, подавать, резать.

Так и стояли мы рядом, молча, потом руки разжались, я взял тарелку, и что-то тихое тронуло мое сердце, и я пошел туда, к ним в гостиную, но то, тихое, не отпус-

кало, и через минуту мы танцевали с пани что-то грустное, чуть разухабистое и напоминающее танго. Ее дыхание делалось чаще, если рука моя оказывалась напряжена, мягкая талия подавалась ко мне легко и просто, выпуклый живот уже вплотную уперся в мой живот, а ее грудь, густая и полная, лежала на моем пиджаке.

— А что, если бы я убрала тогда руку? — спросила она еще через минуту, и я понял, что нечто захлопнулось с тихим шелестом у меня за спиной. — Что? — повторила она настойчиво.

— Пани Ирена, — сказал я с чувством, — я будто почувствовал... или как бы это объяснить...

— Не надо, — невыразимо мягко сказала она, — не надо объяснить, мой кавалер, бардзо добже, как это по-русски, ол райт. — Она засмеялась так, будто было ей двадцать лет.

Остаток вечера я чувствовал, что в меня влюблены. Приглашение, которое я получил на завтрашнее утро, было неожиданно и прекрасно, какая-то окрыленность посещала меня при взгляде на ноги пани и тихая грусть — при взгляде на ноги Эвы. «Пусть им будет хорошо», — думал я, глядя на марокканца, думал несколько снисходительно и покойно...

Яркий день был погашен зелеными шторами. Сначала мы присели на диван.

— Дай я посмотрю на тебя, — шепнула она и повернула мое лицо к свету. — Какой ты прекрасный.

— Прекрасны вы, пани Ирена.

— Ты для меня... произведение искусства, — шептала она с неподражаемым акцентом.

— Вы моя тайна, — шептал я, — вы — фея, добрая

фея...

Она положила меня в постель.

— Сними все, — попросила она, и я снял все.

— Вот так, — сказала она, кладя мою руку себе на живот

— Так, — согласился я шепотом.

Постепенно она переходила на польский. И вот ее грудь стала подниматься неровно, рот приоткрылся.

— Так, так, — цокала она языком, — почекай...

Я уже не понимал ее. В ее призыве чудилась мне даже легкая укоризна, и я старался исправиться.

— Почекай, прошу, — уже молила она, но тут взявшийся откуда-то пудель крикнул «пше-прошу», и неостановимый, неизбежный конец захлестнул меня. — Почекай, — успел услышать я и с мыслью, что чекал как надо, уронил голову ей на грудь.

Когда на прощание она угощала меня коньяком пана Станислава, в движениях ее рук чудилась мне какая-то нервозность.

— Что бы ты сказал, если бы сейчас пришел мой муж? -- вдруг спросила она меня ревниво.

Я не нашелся.

— Ты сказал бы, что ты меня любишь, — настойчиво и укориженно произнесла она на этот раз почти без акцента...

Впрочем, ничего не изменилось. По вечерам мы все так же играли в бридж, а зима шла, трещали морозные стекла, уже метели мели под окнами, но в доме было тепло. На раутах неизменный теперь марокканец кивал мне приветливо головой, вот только по утрам, через день, ложился я в широкую кровать и слушал пья-



нящее меня бесконечное «почекай», становившееся день ото дня все требовательнее и даже гневнее.

Рандеву становились реже.

— Почекай, — умоляла, просила, требовала пани Ирена, и я чекал, чекал и чекал.

Зима шла дальше, и я уже лишь раз в неделю приходил за зеленые шторы. По вечерам я заставлял марокканца — его научили играть в бридж, он хищно скалил белые зубы и округлял свои марокканские глаза, беря взятки, но пан но-прежнему улыбался мне. Настораживало лишь то, что марокканец все приветливее кивал мне головой, пудель кричал уже без прежней неприязни «пше-прошу» и позволял чесать за ухом, пока мой арабский друг истово резался в карты.

По-прежнему устраивались и рауты. К мастеру спорта по плаванию прибавился теперь сценарист со студии «Науч-фильм»; он пил катастрофическое количество водки «Выборовой», говорил, что у него идут сразу три сценария, обещал навеститься к хозяйевам в Варшаву, но как-то я с грустью заметил, что он потихоньку стащил со стола бутерброд с рыбой и сунул себе в портфель.

Пани сделалась томна со мной. Что-то изменилось в ней неуловимо, и руки ее пахли уже иначе — рождественскими мандаринами и миндальным кремом, отчетливо, но не так мягко. Изменилась и Эва. Как-то она села рядом со мной и наивно спросила:

— Читал ты Сенкевича?

Я не успел ответить, я следил за пани Иреной.

Пани пошла на кухню подрезать колбасы. Тут я заметил, что марокканец собирает со стола грязные тарелки. С бьющимся сердцем я встал, прошел в ванную и

заперся на задвижку. Глухие голоса раздавались из гостиной, музыка и смех. Я нервно поправил прическу и взглянул в зеркало. Я был бледен. Из кухни донесся до меня слабый мерный стук ножа. Потом звякнули тарелки. Я припал к микроскопической щелке в двери. Марокканец загоразживал мне пани. Спина его зловеще шевелилась. Слабый вздох вдруг слышался мне — марокканец целовал шею пани Ирены. Теперь он стоял в профиль ко мне, и его толстые губы прилипали к ее коже.

— Ох,— снова донеслось до меня, — почекай.

Пораженный, я выпрямился, ничего не соображая.

— Почекай, — повторила она, — не сейчас, почекай до завтра.

Я помыл руки, вытер их полотенцем, еще раз поправил прическу и прошел в комнату. Эва сидела одна. Я сел рядом. Ее ладошка была влажна, она вздрогнула. Тут пан Станислав что-то крикнул громко, вошла пани, неся тарелку с колбасой, за ней марокканец. Все смеялись, и мы с Эвой засмеялись вместе со всеми.

Из книги «Ранние берега»  
(1977)

## ШАЛЫЙ

На самом краю нашей земли, в пустыне, в русле пересохшего сая, лежат серые пористые собачьи кости; ветер разворошил скелет, унес истлевшую шерсть, закатил под камень белый дырявый череп, и кости разбросаны по красному песку, словно не были когда-то сцеплены, пригнаны друг к другу и все вместе.

Здесь прошлой весной издох странной, яркой палевой масти, непонятной породы пес по кличке Шалый, проводивший зиму в ближайшем кишлаке у старика казаха. Русскую кличку дали псу буровики, несколько лет назад искавшие воду в пустыне неподалеку. Издали вытянутостью тела, ладностью крупной удлиненной головы пес напоминал пойнтера, но вблизи видны были его вывернутые широкие лапы, чересчур массивная грудь, слишком жесткая короткая шерсть.

Бесчисленные собаки в кишлаке, все мелкие, схожей масти, копошившиеся вечно между юртами, дравшиеся из-за засохшего куса лепешки или бараньей кости, лениво случавшиеся на разъезде перед магазином, смертельно боялись Шалого, разорвавшего в клочья молодого кобеля в споре из-за серой, с серыми гноющимися глазами и куцым хвостом суки.

Весной Шалый исчезал. Пастухи встречали его далеко от кишлака, говорили, что он задирает чужих овец, уносит ягнят, уходит от верховых чабанов и вовсе играючи идет метров за сто впереди мотоцикла. Рассказывали, что его видели как-то у соленого колодца километрах в двадцати, он жадно пил из бетонной поилки

для овец, а несколько верблюдов стояли в стороне, отвернув морды, и двигали отвислыми черными губами.

Шалый исчезал на неделю-две, но всегда возвращался в кишлак, и хозяин звал его старчески сипло: Шалы, Шалы... Пес шел к нему, равнодушно принимал ласки; глухо рыча, терпел побои, подолгу спал в тени за юртой и сносил, когда старик по прихоти сажал его на грубую веревку, привязанную к жерди, которую пропускал под животом пса между передними и задними ногами....

Ранней весной в тот год километрах в десяти от кишлака, во впадине между зелеными еще холмами, на усыпанной желтыми и красными тюльпанами поляне разбил палатки отряд геологов. Шалый шел мимо лагеря вечером, темной стороной, держась ближе к холму, когда круглое солнце уже было за гребнем, а торчавшие кое-где саксаулы виднелись на розовых потеках темно-золотой растрепанной бахромой. Пес остановился, остро вытянул морду. Среди запахов непривычной пищи, бензина, свежего запаха нового горячего брезента он мгновенно различил один, необычный для этих мест запах -- запах городской, невиданной здесь собаки, лохматой, с бархатным подшерстком лайки, принадлежавшей единственной в отряде женщине-геологу.

Возбужденно прислушиваясь, пес пошел вокруг лагеря, медленно сжимая круги.

Перед палатками двое мужчин тесали доски. Пьянще-пряный запах обдал Шалого, когда он подошел близко с подветренной стороны. Здесь будоражаще пахла даже трава. Люди заметили пса, разогнулись. Заметила Шалого и лайка, привязанная к стояку одной из

палаток, громко залаяла, рванулась с поводка, повисла на нем, открыв розовый в прозрачном желтом пуху живот с черными точками сосцов. Лай ее перешел в длинный с хрипом вой, ветер распушил шерсть на холке -- на спине пса выкатились две тугих косых полосы.

Из палатки выбежала женщина.

— Пошел, — закричала она, — пошел!

Лайка то бросалась вперед, то приседала, скуля. Женщина ухватила ее за ошейник, собака засипела.

— Пошел, кому говорят! — кричала женщина.

Один из мужчин замахнулся палкой.

Шалый отскочил, резко ушел в сторону и снова стал огибать лагерь расширяющейся крутой дугой....

Красное марево еще висело за холмом, но небо над пустыней стало ярко-серым, черные облачка застыли на нем небрежными мазками, будто натянута была над землей испачканная кое-где сажеей полотняная тряпка. Ночь Шалый провел в заброшенной кошаре. Утром он услышал далекое ботало: чабаны гнали отару к колодцу. Пес ждал, когда лагерь проснется.

Первой показалась женщина. Долго гремел умывальник, потом она позвала из палатки собаку и, не спуская с поводка, повела по клубящейся паром траве. Сука то весело путалась в ногах хозяйки, то, натягивая поводок, отбегала в сторону. Шалый слышал запах лайки издали, хотя ветер почти улегся и воздух казался неподвижным.

Лайку снова привязали. Она притворно рычала, когда выходившие из палаток мужчины трепали шерсть на ее загривке, повизгивала, лизала их руки, каждым дви-

жением своим посылая новую волну приторно-острого запаха течки.

Шалый ждал.

После полудня рядом с кошарой прошли женщина и мужчина с молотками. Едва уйдя за холм, не сговариваясь, они тесно коснулись плечами.

Лайка выкопала углубление в песке и лежала в нем, далеко высунув перламутрово-розовый язык. Солнце заходило. Широкий, еще не растрескавшийся такыр серебрился сейчас, как большое озеро. Стемнело; в полумраке смутно белели очертания колодца, черными зернами виднелась вдалеке спящая на склоне отара. Сладкий запах висел над поляной. Лагерь, казалось, уснул; лишь цикады звенели в темноте. Едва показалась луна, пес завыл.

Он выл долго, стоя на холме.

Его призывный вой оставался без ответа. Шалый стал медленно спускаться вниз, то и дело замирая, снова поднимая морду.

За брезентом палатки слышалось тяжелое дыхание мужчин. Ветер едва шевелил не застегнутый полог. В тишине вдруг ясно послышалось повизгивание суки. Пес ответил ей.

— Он здесь, рядом, — раздался шепот.

— Видишь его?

— Нет. Но, кажется, он с той стороны, совсем близко.

Двое мужчин выбежали из палатки, у одного в руках чернело ружье.

— Зайди оттуда, вон он.

— Где"

— Да вон же!

Один бросился в сторону, но споткнулся о растяжку палатки.

— Черт, ты спугнул его.

Шалый отскочил назад. Теперь его большое, светлое, высвеченное луной тело было хорошо видно на черной траве. Мужчина поднял ружье.

— Стреляй в воздух," сказал другой, — он больше не придет.

— Как бы не так, он весь день был здесь где-то.

Шалый бежал в темноту, когда мужчина выстрелил. В палатке завизжала собака.

— Попал? — спросил из палатки женский голос.

— Кажется, удрал.

— Да он не придет больше, — сказал второй.

— Разлет большой, так что дробь его достала, — сказал, не слушая, первый.

— Ничего с ним не сделается, — сказала женщина в палатке, она опустила с кровати руку и гладила лайку, - а напугать его надо было, да, Кальма, да?

— Жаль, если ты его ранил. Уж тогда надо было наверняка,-- сказал тот, кто просил не стрелять. -- Если ты его искалечил, он совсем озверееет.

— Воет он жутко, — сказал другой.

— Ну что ты, что ты, что ты дрожишь, — успокаивала женщина собаку....

Всю ночь Шалый отлеживался в кошаре. Дробь застряла у него под кожей на бедре, и всю ночь он зализывал рану горячим вспухшим языком. Даже днем, когда пустыня ослепительно заблестела, давно высохший



помет, на котором он лежал, чернел и размякал под ним.

Он прикрывал глаза, и желтая пустыня вставала перед ним, а когда он открывал их, по желтому небу бесчисленно тянулись покачивающиеся желтые верблюды, — один за другим, они шли из-за желтого холма.

Перед закатом рядом с ним дрались две черепахи. Они недавно выкопались из песка, их желтые с черными бороздами панцири тускло поблескивали. Они шипели, вытягивая головы, открывали змеиные розовые пасти, потом прятали головы и сталкивались нижними выступами панцирей.

Шалый смотрел на них, не двигаясь, из-под полу прикрытых век.

Они повторяли все раз за разом. Мерный костяной стук их шуточных ударов заполнял все вокруг. Пес вздрагивал, слюна капала с его запавшего в сторону языка.

Стук повторялся. Небо стало нестерпимо желтым. Черно-желтые облака плыли по нему, как черно-желтые черепахи, и, сталкиваясь со стуком, шли новые и новые, одно за другим, из-за желтых холмов.

Одной из черепах удалось ударить другую сбоку, та перевернулась, победительница отползла в сторону, шипела, вытянув чешуйчатую шею, пока поверженная когтистой шелушащейся лапой помогала себе перевернуться обратно... Слабый знакомый запах разбудил пса. Под вечер он пополз в кишлак и бесконечно пересекал сухой желтый такыр.

Такыр был гладок и пуст.

Старик посадил пса на веревку. Кисло пахнувшей водой он промыл рану, долго рассматривал обнаженные рубцы, качал головой и щипал сухими пальцами грубую шерсть на собачьем загривке.

Несколько дней пес был покорен. Он равнодушно слушал редкий лай в кишлаке, клал морду на лапы и лишь вздрагивал, когда на опущенные веки заползали жадные весенние мухи.

На четвертый день он уже чутко прислушивался к далекому лаю, раздраженно урча ходил взад и вперед на привязи, а лунной ночью через пять дней завыл жалобно и тягуче. Старик вышел из юрты с нагайкой в руке, пес ощерился на него. Казах бил его молча, пес рвался и хрипло скулил от боли в паху. Утром за юртой болтался огрызок веревки, сучковатая жердь валялась в пыли.

К лагерю пес прибежал затемно, метался светлой тенью в предрассветном сумраке, обрывок размочалившейся веревки то и дело перехлестывал его шею. Почуяв его, сука встала в палатке и натягивала поводок, заброшенный через раму раскладушки. Шалый подошел вплотную, ткнулся мордой в полог — белая пена осталась на брезенте. Лайка метнулась к выходу, поводок распустился, и собаки столкнулись головами, терлись, обнюхивая друг друга. Он толкнул ее твердым широким лбом, бросился в сторону, и она с жалобным визгом бросилась вслед...

Все еще спало вокруг. Спал кишлак, спала отара по склону холма. Старик казах спал в своей юрте, зябко скрючившись под теплыми одеялами, а возле его губ, под щекой, покрытой седой щетиной, темнело и рас-

плавалось пятно от слюны. Спали в палатках геологи; тяжело, с присвистом храпел кто-то, другой самый молодой из них, спал неслышно, лицом вниз. Спала на раскладушке женщина, ей снилось что-то. Может быть, во сне она думала об одном из мужчин, спавших рядом, — и слабо улыбалась...

Собаки бежали рядом. Обрывок веревки и поводок, позвякивающий металлическим карабином, волочились за ними в песке.

Низкое солнце, огромное, туманно-оранжевое, катилось над пустыней. Каждый стебель, каждый никнувший к утру цветок отбрасывал сейчас четкую острую тень. Впереди лежала каменистая, рассеченная оврагами, покрытая холмами сухая бескрайняя земля. Две узкие темно-лиловые тени, то и дело касаясь тесно, скользили рядом...

Лайка остановилась. Она вдруг присела назад, вся сжалась, напряглась, будто бежать дальше было некуда. Шалый обходил кругом тяжело дышавшую, неловко поворачивающуюся, повизгивающую суку, терся мордой о ее влажную шею, ловил расширенными ноздрями запах ее мокрого живота. Лайка заскулила и бросилась назад. Пес смотрел ей вслед и, лишь когда она скрылась за холмом, прыгнул вперед, легко вытянув над землей тяжелое тело.

В лагере был переполох. Догоняя лайку, Шалый услышал голоса людей. Собака метнулась к ним, не дала в руки, бросилась обратно. Мужчина с ружьем бежал за ней.

— Осторожней! — отчаянно закричала женщина.  
— Толя, осторожней!

На бегу мужчина взвел курок. Лайка, заливаясь жалобным лаем, все крутилась вокруг пса, то появляясь сзади, то загораживая собой. Шалый зарычал, его обнаженная пасть слепо и яростно наполнилась пеной. Он прыгнул в последний раз, и по его морде, по глазам ударили подряд две огненные нагайки.

Пес оступился. Ткнулся шеей в холодный песок. Пополз вперед, обдирая о камни разбухший от крови живот. Небо было нестерпимо желтым. Из-за желтых холмов одна за другой ползли черно-желтые черепахи под судорожный вой суки...

В конце мая, когда пустыня превратилась из зеленой в серую, а красные такыры покрылись белой сверкающей солью, на облезлом мосластом верблюде к лагерю подъехал старик казах. Слезаящимися на солнце глазами он долго смотрел на палатки, на загорелых людей, на яростно облаивающую равнодушного верблюда собаку, так и не спустился со своего тряпичного седла и, пошевелив красновато-голубыми губами, уехал неизвестно куда.

## ПУСТЕЕТ ВОЗДУХ

Утром — не было девяти — сидел и писал. «Милый мой! — писал он. — Как странно — странно и дивно — мы полюбили друг друга. Впрочем, за тебя не решусь говорить, хоть и смеешься всякий раз мне навстречу, бежишь и смеешься, — так что за себя. Подумать только, каких-нибудь полгода назад мы и знать друг о друге не знали, я представить себе не мог, что ты уже существуешь...» Сидел и писал в неубранной комнате: разворошена постель, остыла печка, засохли цветы в вазе — сухие лепестки в складках желтоватой скатерти. Несмелый блик перебирался по кракелюрам на подоконнике, за отдернутой занавеской стояли сосны.

В правом верхнем углу листа вывел цифру один, хоть и не надеялся, что письмо выйдет длинно. И продолжал: «Казалось, когда полюбили друг друга — все на нашей стороне, а нет: не вольны мы, брат, выбрать друг друга, не положено так, не заведено, не от нас все зависит, от воли третьего...»

Карандаш ровно шикал по бумаге, но тут раскрошился; не заточенный кончик был горек на вкус. Перечел написанное: выходило плохо и все не то. Слова словно нарочно пригнаны, а не невзначай вылились. Тербя карандаш губами и морщась, заметил — в снах опустел угол соседней дачи: исчезла циновка с окна, забранного в мокрую раму.

«Ведь едва любовь наша окрепнет, — писал опять, — ты привыкнешь, приручишься, вырастет невидимая связь между нами — жест ли, каприз ли, разочарование, усталость или взбалмошное желание, — и все по-

летит к черту, в тартарары, а в том месте, где мы поселили друг друга, окажется на сердце пустота...».

«Ведь она, — диктовал себе, да запнулся, — ведь она, твоя мать...»

Лес за окном был странен. Ни желтизны нигде, ни увяданья, а между тем — нечто безошибочно осеннее: ветви держат туман, в глубине стволов кто-то накадил густо, выются синие клубы, колобродят блики; опушка светится стеклянно, где нет тени — сам воздух густеет и светится тоже, в тени же — лиловат. Разложенные повсюду паутины, резные, изукрашенные росой, сверкают чересчур ярко и серебряны.

Не писалось.

Перегнул листки пополам, сложил вчетверо, хлопал по карманам, ища пустой. В окне слева появился мальчишка на велосипеде, уехал в лес по траве.

Мальчишка этот носился по дачам все лето — лето напролет, — то в майке, то в бежевом плащике, видно по настоянию чужому надетом после дождя да застегнутым наспех, у горла только, полы размазывались при езде по спине, — но то летом, а теперь откуда он взялся?

Чудно: в летнем времени должно было остаться мельканье слившихся в серо-ребристый диск, вихляние не туго затянутого колеса, звяканье кожаного кошель, подвешенного к раме и набитого всяка всячиной. Но мальчишка, словно по недосмотру старших, проскочил во взрослое, теперешнее: грусть опустевших рам, запах мокрых хризантем, нарезанных к отъезду и до времени томящихся на веранде, горечь всамделишных раздоров, уже без привычного привкуса послеминутного со-

глася.

Отчего-то вспомнилось: летом, в теплынь, в солнечный разлив, кто-нибудь да бродил по яркой опушке напротив окна. Раз — женщина с девочкой, совсем крошечной, собирали землянику. Зеленый фон и там и сям разбивали бледные пятна одуванчиков, забрызгивал бисер солнечных зайчиков. Женщина нагибалась, делались видны теплые начала ее груди. Ткань легкого платица высвобождалась опущенными руками, а коли ягода пряталась слишком глубоко, приметны делались и черные издалека виноградины, окруженные темной же тенью...

Закурил. Сидел, сидел и курил, сидел, курил и ждал, но нет, никто не звал его. Уеду, подумал раздраженно, завтракать не буду, уеду. Дым построил первый этаж сперва, потом, кучеряво, — второй. Уехать было никак нельзя.

Он здесь, чтобы помочь собраться, все уложить, погрузить, — о том, что этот день — последний, не думал нарочно. Уехать было нельзя, смешно было уезжать, смешно и глупо уезжать, — чтобы завтра приехать снова. Просто ей бы войти, войти и погладить его рукав. Войти и погладить и позвать завтракать. В том, что постель не застелена, чудилось теперь что-то тревожное. Табачный дым строил третий этаж, лепил башенку возле щели в раме.

Иное дело ночью.

С вечера затапливал печь: настругивал щепок, поджигал жгутом свернутую газету. Вскоре пламя выбивалось из-под поленьев, охватывало жаром березовые чурки; красные, отороченные желтоватой кисеей языки

растекались, норовили улизнуть в дымоход, над ними приплясывали сиреневые искорки. Делалось потихоньку тепло. И тут начиналось: медленное круженье оранжевых отсветов, сверкающая рябь отблесков на белесой стене. Блики то затевали трескучую чехарду, но тускнели; лишь теплый ровный гуд успокаивал, что печка и не думала гаснуть, и не скоро, уже посреди синего-синего поля, — шепот:

— Лежи, я сама закрою.

А там по давно знакомому, заученному в сладких ожиданиях счету: раз — будто яблоко упало, мягкий удар пяток об пол, два — поиск тапочек, возня, три шороха шагов к печке, скрип дверцы — угли должны были подернуться голубым, — дыханье плечами потянутой ткани, чугунное ворчанье заслонки наверху. Дивное, всегда обманное, запаздывающее на мгновение возникновение под пальцами ворса ее ночной рубашки, возвращение на грудь под осторожный аккомпанемент матраса ее руки, устраивание, блаженно-зябкое, двух пар ног и снова долгое синее поле...

Не дождавшись, сам отправился на крыльцо.

Кухонька стояла от дома отдельно — дорожка небрежно присыпана песком. Митька сидел посреди дорожки на горшке, ближе, впрочем, к кухне, но и вдали от нее, издавал непрерывное: тр-р-р... За горшком тянулась прихотливая борозда. Штаны Митькины были спущены, он путался в них, пачкал в песке, ручонками сжимал воображаемый руль. Раз за разом дергаясь, елозя по земле сандалиями, толчками Митька ехал куда-то.

— Сиди как положено.



Митька заелозил еще пуще, восторженно, как щенок, взвизгнул, прокричал в ответ:

— Я — уже — пока-кал!

— Ну-ка.

Приподнял его — тот покорно улегся мягким животом на руку, — заглянул в горшок — Митька не обманывал. Его попка от долгого сидения была обведена красным. «Ленивая, ленивая баба», — пробормотал про себя и пошел за салфетками. Вернувшись, увидел — Митька стоит без штанов, корябает под животом.

— Руки убери, — прикрикнул на него, подтер, скомкал салфетки. — Марш к маме, скажи, чтоб тебя умыла.

Шел с горшком к лесу — выносить — думал:

«Что за странная идея — писать все это. Ведь он и читать не умеет, а умел бы — не понял бы. Тьфу...»

И едва не попал под колеса велосипеда. Мальчишка сосредоточенно проехал мимо — тот же плащик, хлопающий на спине, перемазанные сандалеты. Как не надоест!

Мальчишка иногда заезжал к ним на дачу. Терся, путался под ногами, приставал со всякой чепухой:

— А вы читали, что у тех, кто ныряет глубже, чем на пятнадцать метров, барабанные перепонки лопнуты? Я читал у Кусто.

Или:

— Знаете, раньше думали, что корабли, если пропадают, так это из-за гравитационных бурь. А теперь в Америке открыли, что просто на дне океана есть другая цивилизация. Они забирают экипажи кораблей к себе — для изучения. Как вы думаете, они там на дне жи-

вые?

И никак не удавалось определить возраст мальчишки: то он представлялся маленьким, мельтешащим, как забежавшая в чужой двор собачонка, а то вдруг рос на глазах — удлинялись его ноги, делались видны волосатые подмышки, черные пучочки над углами губ. Мальчишка позволял Митьке дергать звоночек на руле, и она зачем-то болтала с ним подолгу, совала пробовать то, что готовила, как-то оказалась застигнута на его велосипеде...

— Алеша, мама сказала, чтобы ты вымыл. — Митька бежал навстречу.

— Ну, давай руку. Ленивая... ленивая... «Алеше» Митька научился у матери. Она всегда звала так — «Лешенек» никаких слышать не хотел. А если что-то было не в порядке у них — Лешей. И эта бессмысленная сама по себе буква, вставая перед его именем, выражала в иные минуты то, на что не хватило бы у них слов, а будучи изъята в результате безжалостной вивисекции — обнажала разом какую-то безнадежную бездну.

Шли, держась за руки. Сейчас выглянет она из кухни — легонько ступит на порожек, словно выглянула не к ним, а на них между делом взглянула, — как-то особенно счастливо улыбнется, увидя их вместе шествующими, и поневоле следы размолвки примутся бледнеть, стираться. Он нахмурился загодя, как бы сопротивляясь уже безотказности действия этого ее умиления, испытывая неловкость. Но она не вышла.

Намылил Митькины скрюченные ручонки, подтянул их под кран, заставил мыло смывать самого, тот Упирался, повизгивал, Митькина курточка забрызгалась.

Полотенце висело тут же и было сухим, — видно, она только повесила.

— Теперь за стол.

Так же держась за руки, улыбаясь оба — он приготовил заранее эту бодрую улыбку, она часто их выручала, когда слов ни один не находил, служила знаком сигналом к отбою, — но в кухне ее не оказалось,

— Где же мама?

Митька не ответил, а успел стянуть со стола печенье. Все было приготовлено к завтраку: стояли две тарелки, в них — горячие куски яичницы, посыпанные зеленью. Хлеб был нарезан.

— Сначала яичницу, печенье потом... Я не заметил, как она выходила.

Подсадил Митьку, сел сам. Долго, ничего не говоря и не протестуя, смотрел, как Митька возит кусок яичницы по тарелке. Рукава Митькины окаймились мокрым, рожца поблескивала и ходила туда-сюда, глаза озорно, лукаво косили из-под белесовато-розовых бровей... Неприятно-жесткое слово «сын», прилюдно принимавшееся издевательски «ыкать», сейчас смягчилось.

Взял у Митьки вилку, стал кормить, сунул кусок за куском, но Митька жевал долго, иногда впустую уже чавкая, чтобы очередной кусок оттянуть, — и болтал ногами. «Сиди как следует!» — прикрикнул, но строго не вышло, как и всегда не выходило, отчего Митька и не слушался его никогда, из хитрости лишь делая вид изредка, что боится окриков.

Паузы между кусками все затягивались, в каждой паузе на кухне отчетливо присутствовала она.

С полка — доставала что-то, встав на носки. К рако-

вине — нагибалась, мокрой щепотью отправляя волосы со лба; в углу шуршала целлофановым пакетом, присев на корточки. Короткая кофточка сползала вверх, обнажался светлый ромбик между поясом и выбившимся краем. И этот участочек то злил, то восхищал, звал его ладонь, хотел, чтоб он не выдержал, украдкой припал губами и получил взамен благодарно всплеснувший смех. Но так не могло продолжаться и дальше — кусок за куском становилось слышнее, как за фанерной стенкой каплет из крана вода.

Кран тек все лето. Еще весной он обернул его тряпкой, скоро проржавевшей, но как следует поправить не умел, и кран продолжал течь, а они привыкли к этому, этого не замечали, они, вместе, — лишь теперь кран вновь стал слышен.

Вытер Митькины рот и щеки розовой салфеткой с маками, тот не давался, мотал головой, канючил, про печенье не забыл, получил причитающуюся за завтрак хрусткую безвкусную плитку, засунул за щеку. Пошли к дому.

Тихий туман шел от земли. Вис над самой травой, а выше — воздух растекался и прозрачнел, и это разделение воздуха и тумана делало все вокруг неестественно явным, тревожно-праздничным, как после долгой болезни. Но и в доме ее не было.

Была кровать, с которой они утром встали. Были маленькие тапочки с подмявшимися задниками — стояли у печки.

— Мама в магазин ушла, как ты думаешь?

— В магазин, — счастливо и беспечно отозвался Митька, еще печенье не дожевав, но найдя уже где-то

плоскогубцы и прилежно ковыряя ими надорванные обои.

— Ну конечно. Ушла в магазин, сейчас придет, будет делать обед, а мы гулять пойдём, а?

— Не хочу гулять, — сказал Митька сосредоточенно.

— Вот те на. Это почему же?

— Не хочу, — спрятав руки за спину, наклонившись и захохотав в предвкушении возни, отвечал Митька.

— Ну и бог с тобой.

— Бог с тобой, — повторил Митька разочарованно и принялся вновь за обои.

Стал ходить по комнате туда-сюда, не зная, за что взяться, догадываясь уже, до какой степени неудобно для него это ее исчезновение, брался за одно, за другое...

Приезжал запоздно. Цветы захватывал на пересадке у туннеля, ведущего на перрон, — в то лето была уйма цветов. Выбирал придирчиво: тот букет аляповат, этот — беден, убог, третий — неестествен, а ухватывал — что под руку попало, в последнюю минуту, слыша уже электричку, перебой колес на виадуке. В вагоне все не мог букет приладить — то держал прямо, чтоб не осыпался в толчее, а то укладывал на полку, и лепестки выпархивали сквозь редкую решетку.

Та же проблема и на ходу в темноте от станции: нелепо шуршащий целлофан выбрасывал и нес цветы то перед собой, как бы уже вручая, а то зажимал в той же руке, что и портфель, — они плыли горизонтально, заставляя о себе думать.

Подходя к темному домику, волновался до стука в

висках. Будто могло случиться: подкрадется в темноте, стукнет в окошко, но занавеска не дрогнет, никто не отзовется и дверь не откроется. Но каждый раз открывалась. Цветы сейчас же в сторону, как несущественное, а голову — к нему на грудь, не порывисто, а как по ритуалу. И приходилось гадать: хорошо ли, что уже легла, а не ждала со светом бессонно; добро ли, что букет отложила без радости, будто и не для нее вез? И только не скоро объяснялось: ждала и легла, лишь выплакавшись, — думала, что не приедет; а цветы после все охаживала, оглядывала, ставила в вазу, меняла воду — до следующего приезда... | Раздался отчаянный вой.

Обернулся. Личико Митьки надулось, покраснело от натуги, выл что было сил.

— Что?

— Голубцы.

Переводить не надо было, Митька всегда называл плоскогубцы голубцами, они много потешались над этим.

— Укусили?

— Д-да.

Улыбнулся с какой-то нежной болью.

— Давай палец, подуем.

И в том, как дул сперва на прищемленный палец, потом — по Митькиному требованию — и на соседний на всякий случай, мигом сплавилось: знание, что и она поступает именно так, стараясь унять Митькину боль, с воспоминанием, что и его мать когда-то так же дула на ушибленное. Боль чудесным образом отходила, а обиды и вовсе не оставалось никакой, коли являлся мигом человек, который и боль эту и ушиб принимал на себя

— дул. То, что утешает Митьку сейчас он сам, делало малыша отчасти и им, а его — несколько Митькой, малышом, ждущим мать.

Она придет сейчас, придет теперь же, мгновенно и непременно, но знание этого не уменьшает ужаса, с каким ждешь, — ужаса любви к существу, которого нет рядом...

— А теперь нос.

Митька подсунул нос для поцелуя, всхлипывая, от слез мокрый.

— Слушай, пойдём-ка посмотреть на пожарников, а?

— На пожарников, — согласился Митька с необычной покорностью.

Здание пожарной службы стояло на полпути к магазину. Пропустить ее они никак не могли: встретились бы или до пожарки, что было всего вероятнее, Или за ней, на асфальтовой дорожке, или, в крайнем случае, в березовой аллее, которая вела к самому магазину, упиралась в него.

Дышалось легко. Осень еще не началась всерьез, и прелюдия осени убеждала, что теперь не может быть неясностей и неразрешенностей, а лишь дорассказанность и правда. Ничто не увядало еще, а как бы сделалось мудрее. Было не холодно, только строго. Была тишина, ни птиц, ни людей, пустота, невозможность отъезда и вместе несомненный конец лета.

До пожарки никого не встретили: мокрые бордовые дощатые стены, атавистичная надстроечка, напоминание о существовавшей некогда каланче. Но и пожарных никаких. Походили вокруг, заглянули внутрь — все пусто: в углу — забытое зачем-то знамя, посреди —

пустая тусклая крышка стола, забитая фишками домино до блеска, стулья в ряд, гараж заперт накрепко.

— Пойдем на паровозы, — распорядился тогда Митька, не унывая.

Паровозы — это тоже по дороге, к станции надо было идти мимо магазина. Вышли на асфальт, но и тут никого. Пошли, как и давеча, держась за руки.

Митька любил так ходить, а еще пуще — держаться ручонками за две руки: его и ее. Тогда, ступив шаг, он вис, прокатываясь ногами вперед, оттягивал и сближал их плечи, мешал говорить и ссориться.

Но сейчас Митька шел чинно. О чем он думает? О чем может думать такой вот человек, живущий на свете третью осень? Велик был соблазн к нему поприставать, окликнул:

— Митька?

— А, — отозвался тот с забавно-взрослой интонацией.

— Ну-ка, скажи, отчего у тебя уши топорщатся?

Ее всегда обрывал. Говорил, что делает из ребенка попугая, если просили Митьку почитать стихи на публику или песенку спеть. А сейчас вот сам. Теперь, по заведенному между ними обычаю, Митька должен был прикрывать ладошками уши, хитро уставиться снизу и, то отнимая, то прижимая руки, рассказывать: что ему там слышно.

А началось так. Шли втроем с речки, Митька вис у них на руках, и была эта минута одна из несчастных — оба чувствовали, до какого крайнего предела они вместе. Открывал Митьке угловатый полет капустниц, догонял кузнечиков, и там и сям заводивших стрекот, пугливо



обрывавших трель, чтобы совершить юркий перелет, устроить буренькое тельце на стебельке клевера. Самых нерасторопных успевал прикрыть ладонью, — щекотка внутри кулака, торжественность манипулятора, с какой преподносил сжатую руку Митьке, Митькино ожидание и трогательное разочарование на его мордашке, когда он не успевал взглядом уследить за торопливой дугой спасительного прыжка.

Вспоминал и сам: так же точно и в его детстве лягушки плюхались белыми брюшками о воду, возникнув откуда-то из-под берега, оставив за собой покачиванье пурпурных пирамидок плакун-травы, прячась где-нибудь на просвеченной отмели, лупя глаза и замирая под зеленоватым неслышным течением.

Из полых сырых волокнистых трубок борщовника учил Митьку стрелять капельками бузины, но у того не выходило. Ягода повисала на губе, трубка оказывалась обмусолена и забита, а она все тревожилась, как бы Митька не отравился, бузины не наелся. Был для Митьки распорядителем этого травяного, птичьего, лягушачьего, листовенного бала, покровителем таинственно змеевидных водорослей, меценатом в одной точке огромного неба повисшего в пенье жаворонка, властителем подсолнухового поля, в одну сторону смотрящего многими, еще серыми, глазами, и горящего дремным розовым цветом луга... И во всем — радость и свет обладания ею, им.

Но вот на возвратном пути черт дернул сглупить:

— Митька, зачем тебе такие большие уши?

И вдруг она рассеянно:

— Уши? Да, у него Костины уши.

Тут же оборвалась, затихла испуганно — Костины. Тогда и завел эту игру, Митька обрадованно слушал ему одному ведомое, а он ночью с чувством и счастья и горя слышал особенно благодарное: милый, милый мой...

— Ну что? Шумит?

— Шумит.

И едва Митька сказал это — увидели ее.

Она была еще далеко, в конце дорожки: ее светлое платье, ее стриженная головка, — а рядом ехал, вихляясь, мальчишка на велосипеде.

— Я — устала — тебя — ждать, — тут же вспомнилось вчерашнее.

Вилянье велосипеда позволяло мальчишке ехать вровень с ее шагом, он все оглядывался на нее, то чуть обгоняя, то поспевая за ней, а на руле болталась ее сумка, и они о чем-то спорим дружно — даже издали было видно, что дружно, — и его с Митькой не замечали.

И мигом обесполезилось его ожидание, желание ее встретить, помочь донести, и тоном и разговором показать, что нет ничего важнее теперь, чем их сегодняшний день.

Мальчишка приближался, велосипед все вилял, сумка раскачивалась, — но рядом с велосипедом шла не она.

Как-то жутко стало ему от этой подмены.

Ускорив шаг, сжимая Митькину ручонку, он шел дальше, вглядываясь, — но нет, никого. Вот и аллея — но и здесь ее нет. Лишь особенно белые сейчас стволы берез, все та же, физически ощутимая, пустота...

К магазину приближались чуть не бегом: тусклая лампочка, узкий прилавок, витрина бедна, ее нет.

— Купить конфету?

— Не хочу, — фыркнул Митька, думая о паровозах.

— Слушай, — сказал, едва вышли на крыльцо, — а ведь мама осталась на даче. Как же мы пропустили ее?

Митька только пожал плечами, не успел соскучиться. Придется, значит, идти на станцию, в обратную сторону той, где сейчас она, что-то складывающая, убирающая, знакомо наклонив тело, улыбающаяся из-под свесившихся вперед волос, эта ее знакомая улыбка между делом — знак того, что помнит и думает о нем, постарается закончить побыстрее и сесть рядом с сигаретой, уютно поджав ноги, спрятав ступни, а колени — высвободив будто нарочно для того, чтобы он смог положить на них руку...

Стояли на мосту. Паровозы тянули внизу длинные составы, мост дрожал. Задул ветер. Посерело.

Вот так же стояла и она с Митькой, когда он уезжал. Всегда просила не оглядываться, когда побежит через две ступеньки вниз к уже готовой встать у перрона электричке, — чтоб Митька не ревел. Но сама не уходила. Сжимала ручонку сына, глядела вслед и снизу казалась жальче, роднее, меньше ростом и покинутее, чем на самом деле, — оглядывался все-таки... Возвращались скорым шагом. И не только затем, чтобы скорее увидеть ее, — стало холодно.

— Замерз? — спрашивал то и дело Митьку. Но тот качал головой: нет, мол, — и шел безропотно.

«А ведь нарочно спряталась, — вдруг решил с раздражением, решил в ту минуту, когда совсем было поверил, что никуда она не делась, что на месте и ждет. И чем сильнее верил, тем больше раздражался. — При-

шла же охота играть, что за глупости!..»

Но торопился. Митьку повел не асфальтом, а свернул от пожарки в лес, чтоб короче было.

— Смотри, — вырвался вдруг Митька.

Он наклонился. Мухомор, который Митька обнаружил в траве, был бур, бородавчат и стар. К мокрой шляпке прилипла хвоя, и вдруг, глядя на эти уже по ржавевшие мертвые иголки, вспомнил:

— Пусть он называет тебя отцом.

— Не надо, не надо учить. Потом сам...

— Потом, все потом.

... Даже ночью она не бывала той же. Каждый раз, приезжая, заставал в ней перемену, самую неуловимую, но только не для него. И каждый раз надеялся, делал вид, будто она та же. Но той же она не была.

Вышли к какой-то даче. Но даже здесь, на свету, на поляне, все будто сдвинулось, сгрудилось. Кусты же совсем почернели, и пожелтели деревья. Прежней прозрачности не было в воздухе, а повисла какая-то сладкая гарь. Слово тлением пах лес, и в запахе этом будто слышалось какое-то безутешное сиротство. Что то сдавило грудь.

— Митька, — кликнул он. Увидел: Митька залез на лавочку у крыльца чужого дома, стучал по ней чем-то твердым. Мягкий стук тут же умирал — стук кости о дерево. Подошел, разжал его ручонку: перемазанная, видно много дождей назад потерянная, фишка от домино. Вдруг вспомнил со страхом: еще весной, в первый их приезд, возле их собственного крыльца нашли они такую же фишку. Три-два, — увидел он. Так и есть — три-два.

— Подожди, — шепнул Митьке.

Тот кивнул головой.

Зашел за дом, через секунду на сырой стене возник мокрый горб, затем второй: верблюд, чистый верблюд. Хотел и Митьку позвать, показать, да постеснялся. Нет, он расскажет ему сейчас, расскажет сказку о том, как холодно мокрому верблюду на мокрой стене... У нее сказки выходили по-настоящему. Как-то подслушал через дверь, — лежал, ждал ее, а она пошла взглянуть, не раскрылся ли Митька, но тот, оказалось, не спал. Она рассказывала: один человек носил солнечные очки, но все-то ему чудилось, что с очками творится странное: то переливаются всеми цветами радуги, то будто шевелятся. Все разъяснилось, лишь когда очки вспорхнули с его носа, — так долго не замечал, что на носу сидела бабочка.

Митька смеялся. И чтобы усыпить его, она рассказала еще. Однажды булыжная мостовая решила уйти из города, потому что ей захотелось увидеть море...

— Митька, — крикнул, потому что Митьки на месте не было. — Митька, я тебя вижу. — Хоть и не видел, конечно, но что стоило Митьку обмануть?

Тот не откликнулся.

— Митька, — метнулся в одну сторону, в другую, — Митька-а...

Стали уже сумерки. Среди сосен у самой земли лежала туманно-красная полоса. Как скоро прошел день, куда подевалось утро?

Он побежал.

Бежал в сторону дома, отбрасывая от себя цепкие ветви кустов, то и дело спотыкался о широкие бугри-

стые корни, распорол штанину, зацепившись за выступ большого мрачного пня... Однажды — булыжной мостовой — захотелось — увидеть — море.

Она терпеливо шла, много дней, ненадолго засыпая ночью, и утром снова двигалась в путь. Дошла. Море оказалось синим и очень большим. Конечно, я никогда не купалась, только умывалась по утрам, но вон: плавают же те люди, играют дети. Подумав так, мостовая подошла было к самой воде...

Он стоял перед тем же домом, — отчего он сразу его не узнал? — даже верблюд на стене еще не высох, и знакомая поляна под окном, вон их кухонька, вон угол соседней дачи. Окна их дома были закрыты фанерой, заколочена дверь — широкая щербатая доска набита наискось.

В доме давно никто не жил. Он стоял — ворох листьев под ногами, остатки инея на жухлой траве, такого, какой бывает самой поздней осенью. Руки его дрожали от холода. Неловко полез в нагрудный карман за сигаретами, скрюченными пальцами выгреб почти пустую пачку, на землю порхнул листок. Нагнулся, расправил, прочел: «Милый мой! Как странно — странно и дивно — мы полюбили друг друга...».

Листок был затерт и засален на сгибах, смят, желт по углам. Он сделал к дому несколько шагов, припал к щели между фанерой и рамой: темнота. Машинально оглядел себя: поцарапанную ногу, порванные штаны. Брюки были тщательно зашиты мелким, точным, ее стежком. Тишина.

Подышал на пальцы — легкое облачко ушло вверх. Страх не чувствовал, не было и тоски. Лишь давняя

боль поднималась в нем. Нерешительно ступил на голое крыльцо, осторожно, словно боялся разбудит кого-то, постучал в заколоченную дверь.

Будто треснуло что-то высоко над ним, раскололось, распалось. Слышно этого не было, но почувствовалось им. Медленно и недоверчиво он поднял глаза.

Светило солнце. Лес потеплел, поляна осветилась, и ожила трава. Женщина, нагнувшись, собирала землянику, рядом с ней возился малыш.

Вот малыш увидел его, расплылся в улыбке. — Алеша, привет! — закричал он, и мать разогнулась.

Малыш бежал к нему, путаясь ногами в траве, женщина улыбнулась. Улыбка ее была сперва выжидательной, недоверчивой, но вот — все знакомее, радостней и родней. Она тоже пошла навстречу, опустив руки и смущенно поводя плечами, как одна только умела, остановилась в трех шагах, сказала что-то про себя неслышно, а вслух — первое, что пришлось:

— Ты. Ты приехал?

Из книги «Фотографирова-  
ние и проч. игры» (1990)



## УРОКИ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ

А т е л ь е, она всегда говорила а т е л ь е, Бог весть кто выучил ее, не мастерская, не лаборатория, не фотография, но ателье, позвони в четверг в ателье или приходи в ателье вечером,—

косоглазое здание на Каляевской, которое снесли нынче, а тогда с забитыми щитами окнами по одну сторону фасада, с пустыми окнами по другую и с игрушечной фотомастерской на первом этаже (комнатушка-приемная с приемщицей Бертой, тучной, в седовато-лиловых химических кудрях, шестидесятилетней лукавицей с грузными очками на носу-еврее, разностекольными под стать самому зданию, плюс два и плюс семь с половиной, с лиловым же большим пальцем левой отечной руки, каким она подсовывала под квитанции обрывок прозрачной на сгибах копирки; маленькая студия в черных драпировках со старой четырехногой деревянной камерой, снабженной черной гармошкой, с круглопузым сумрачного вида малым лет, как я теперь понимаю, под сорок, фотомастером Анатодем в синей с полосой рубахе, в бордовом с искрой галстук, в черных нарукавниках и всегда под банкой; чрево этого заведения, наконец, целый выводок закутов и каморок, одна из которых именовалась кабинетом, содержала стол с черным аппаратом, пачкой пыльных бумаг и фотоснимками синюшных младенцев под стеклом, не востребованными капризными клиентками, стул и заляпанную бордовым портвейном тумбочку с коркой хлеба на замасленной газете, с липким граненым стаканом, —

другие были отведены под лабораторию), сюда в

течение месяца своей юности я являлся как на работу, имея в карманах кулек карамелек, пачку сигарет с фильтром болгарского либо кубинского производства, бутылку какой-нибудь сладкой крепленой дряни (все на деньги, сэкономленные от домашних» закупок, кино и школьных завтраков). Я опасливо заглядывал в приемную, дожидаясь, пока старуха поднимет глаза, признает, надует дурашливо щеки и покачает кудрявой головой, мол, рано; тогда приходилось выкатываться на улицу и битый час болтаться на студеном ветру по противоположному тротуару, выжидая, пока фотомастер в каракулевой шапчонке-пирожке и цвета тины с плесенью демисезонном пальто с большими карманами-клапанами, с помятым толстопузым портфелем в руке, покачиваясь, покинет ателье, освободив мне дорогу, ведь постороннему не место в казенном учреждении после конца рабочего дня, это всякому ясно, а мог ли знать мастер, что я — не посторонний. Заходя на приступ повторно, я был уверен, что толстуха Берта кивнет и подмигнет мне. Но и теперь надо было ждать. Я топтался в приемной, наблюдая, как бессмысленно долго перебирает она сардельками-пальцами свои бумажки, копается с квитанциями, ковыряется в жестяной банке с мелочью, стуча монетами, кряхтя и вздыхая; нечего и думать было приступать к делу, пока Берта не переобует разношенные туфли, не залезет в толстые боты, не облечется, сопя, облезлой шубой, не закрутит поверх древнего меха шляпы с полями пуховой платок, не перевооружит свой нос, сменив служебные очки на рассчитанные для хождения по тусклым вечерним улицам, и не повесит на согнутую больную руку дерматиную

сумку, страдающую стригущим лишаем и проказой одновременно. Но прежде чем покинуть помещение, она крикнет Галину (да-да, ее звали Галиной, я твердо вспомнил, Галиной), чтоб нудно перечислить, что нужно выключить, прикрыть, запереть и проследить, и только после этого вывалится наконец на обледенелый тротуар,—

и дверь за ней можно будет замкнуть, а в приемной погасить свет. Мы минуем студию, где оставляем лишь притушенное дежурное освещение, мы придурочно говорим шепотом, не чувствуя себя вправе законно пребывать в этом теплом месте (это после сентябрьских-то островков чахлой травы в сквозных старомосковских двориках, октябрьских-то сырых лавочек в мокрых сквозящих скверах, закаменевших от ранних заморозков ноябрьских земляных полянок за заборами замороженных строек), мы крадемся мимо двери кабинета, будто нас может подслушать пустая портвейновая посуда, мы попадаем сперва в затененную комнату с ярким прямоугольником на подставке увеличителя (здесь воняет реактивами и фотоэмульсией), потом оказываемся в следующей, где в огромной раковине слой на слое плавают в воде многие отпечатки розовеющих в свете красного фонаря разнополых одинаковых морд, и, наконец, мы дома (здесь уютно урчит лениво поворачивающийся валик электрического глянецвателя, здесь пахнет табачным дымом и дешевой косметикой, какой он нигде никогда не нюхал). На сооружении, напоминающем пожилую парту, валяются ее мелочи, какие держать она могла, должно быть, только Здесь, никак не дома под придирчивый взглядом взрослых: пласт-

массовая трубочка с облизанным столбиком отчаянно-алой губной помады жестяная коробочка с самоварной тушью для ресниц (такую в те годы изготавливали парикмахерши и косметички по рецепту, надо думать, гуталина, взяв секрет у чистильщиков-айсоров), коробочка, в которой от плевков и упорной работы начинающей лысеть щеточки (детской щеточки для зубов) проелась белесая плешь, толстый коричневый карандаш со следами молодых задумчивых челюстей с не очиненного конца, с измусоленным грифелем с другого (для обведения губ), худенький черный, почти дочиста съеденный карандашик, большая драгоценность (для подведения глаз), банка штукатурной крем-пудры (она-то и дурманила меня, по всей вероятности), склянка то ли белил, то ли румян и, наконец, вонючая, как керогаз, солдатской конструкции бензиновая зажигалка с откидывающейся крышкой и ребристым колесиком для добывания искры,—

вот, собственно, и все, что составляло загадочную крестословицу очаровательного и ненадежного, как мои тогдашние чувства, ее женского мирка, который я вдобавок (при неизменных знаках ее одобрения, гордо отдававшихся в моей глупой душе) населял тут же и бутылкой вина, и фильтрованными сигаретами, и кармелками в парафиновых фантиках, в какие я за немногие годы до того играл с соседкой по лестничной клетке. Правила были просты: поддевая фантик, сложенный квадратиком, ногтем большого пальца, нужно было накрыть им фантик партнерши и таким образом пополнить свою коллекцию, причем я отчаянно жульничал, доводя бедняжку до слез, до того, что на нашем семи-

летнем снегу она застенчиво рисовала палочкой на возвратном пути из школы расшаркивающееся закругленное «л»...

Появлялся стакан, наскоро сполоснутый в промывочной ванне, какой-нибудь гниловатый фрукт, мы выпивали, она посасывала конфетки, я застенчиво проникал ей под кофточку, под подол, она хихикала, просила налить еще, шуршала бумажками от конфет, командовала отвернуться. Со стуком в висках я считал до двух, пока клюнут в кафельный пол оба ее мягких сапожка, но не оборачивался, избегая ее сердить. Сейчас отстегнет она резинки от чулок, вытянет из-под эластичного пояса (колгот тогда еще не изобрели), поскрипывая ногтями по капроновой комбинации, тряпичные свои трусики, сунет их в сумочку и потребует погасить свет. Тогда я расправлял в потемках по сдвинутому в ряд жестким стульям свою нейлоновую курточку (полагая, что горизонтальное положение столь же обязательно, как выключение света и хранение трусов в ридикюле до истечения контрольного времени), укладывал ее, все хихикающую да жующую, на спину, наваливался (погоди ж ты, дай потушу сигарету) и, навалившись, подтягивал к ее бедрам подол юбочки и подол комбинации (отчего, дурень, надо было это делать в такой неудобной позе). Расстегнув и стащив до колен собственные штаны, придерживая ее, пусть она и не пыталась ускользнуть, одной рукой, я копался у себя в трусах, наконец, поймав себя и примерившись, принимался копать в ней, сдергивая книзу края чулок, отмахиваясь от докучливых многочисленных резинок, не сразу находя меж худых ее ляжек сухую щетинистую промежность, плутая, пока

не нащупывал-таки липкое место, расплзающееся под пальцами, как раздавленная ягода. А там снова пускался на розыски сбежавшего за время рекогносцировки своего инструмента.

Она терпеливо выжидала, пока все будет готово. И когда, наконец, я прилаживался, прислонял головку к влажному и мягкому месту, она не выдерживала (пожди, дай я сама) и сварливо поправляла все своей спорой ручкой. Я принимался тыкаться в нее по щенячьи, ничего не чувствуя, пожалуй, кроме истомного волнения, дергал задом вверх-вниз, подминая ее и потея от лишней одежды и усердия. Она и эти приемы терпела довольно снисходительно, как, скажем, неизбежные неудобства в переполненном транспорте, лишь справляясь через краткие интервалы времени, мол, не хватит ли, ах нет еще, ну ладно, и никогда не угадывала, пролилась ли уже из меня горячая прыгучая капель, ибо я, стараясь ее обмануть и продлить соитие, кончал втихую, как мышка, и продолжал как ни в чем не бывало елозить, хотя напора уж не было. Но рано или поздно обнаружив подлог, она решительно высвобождалась, приговаривая: ладно, ладно уж, довольно с тебя, и я слезал с нее, стыдливо подтягивая трусы и путаясь в штанинах, она тут же одергивала юбчонку, становилась чулками на грязный холодный пол, отворачивалась, доставала из сумочки трусики, влезала в них, подстегивала чулки, и лишь изредка, да и то на мгновение, мне удавалось подсмотреть бледно-землистые полосы обнаженной кожицы на ее мальчишечьих поджарых Ногах. После процедуры я бывал немедленно усаживаем за фотоувеличитель, —

ведь я был ее ассистентом — вдобавок к портвейну с конфетами, — довольно усердным и немногого требовавшим в награду, пусть авансом.

Эта. подмосковная девица лет семнадцати от роду с тощей грудкой, острыми плечиками, худышка с плоским задом и узким тазом, бойкая, несмотря на пролетарскую свою недокормленность, сметливая, с маленькими карими глазками-пуговками и носом уточкой, покрытым веснушками, была первой женщиной в моей четырнадцатилетней жизни. Как положено, она доводилась старшей сестрой моей однокласснице (но не той, с которой я играл некогда в фанты); я увидел ее летом на пляже на Филях, был сражен невыносимым ее кокетством, невиданными приемами завлечения, как-то: облизыванием верхней губы розовым язычком, передеванием лифчика прилюдно, острым подглядыванием карей пуговицей из-под распущенных жидкопепельных мокрых волос, просьбой постоять на атасе при выжимании мокрых трусов за кустами. Она вынула их из-под подола сарафана и стала отжимать, ухмыляясь. Не испытывая ни торжества, ни ужаса, я улегся с ней в пыльную траву на этом чахлом берегу. Не здесь же сумасшедший, а если кто пойдет, пробормотала она приличную делу формулу и положила меня между раздвинутых ног. Все случилось споро, как у птиц, и я был не на шутку сконфужен, когда к моему страху и изумлению из меня потекла горячая струйка, обжигающая изнутри меня самого. Она деловито обтерла и меня и себя своими мокрыми трусами, повела ляжкой о ляжку, будто было ей между ног щекотно, обронила пойдём а то ждуть неудобно, и мы вернулись к компании моих свер-

стников, из которых никто, кажется, не разглядел, что из-за кустов к ним вышел новый человек, не тот, кого знали они под моим именем. Я сделался ее пажом. Конечно, она понимала, что она у меня первая, и пользовалась этим с ловкостью. Я был покладист и не ревнив, лишь бы она позволила повалить себя и раздвинула ноги. Той осенью мы определенно застудили бы все потребное для наших скромных удовольствий, если б она не поступила в ноябре лаборанткой в это самое а т е л ь е. И вот, сидя за фотоувеличителем, полный лихости и гордого сознания своей удачливости (в те годы любовь еще не опустошала, над случайным моим ложем еще не парила мутноватая звериная грусть, неизбежная спутница всякого соединения, которое, как мы научаемся понимать рано или поздно, всего лишь еще один обманно-приторный шажок к тому, что весьма приблизительно называют смертью), в свете красного фонаря я рассматривал опрокинутые изображения многих и многих лиц. В ходу были паспорта старого образца с фото три на четыре (мне ли не помнить этого), и граждане со сверхъестественным упорством поголовно фотографировались в этой кукольной фотографии, подставляя за каменевшие от сосредоточенности свои лица под пристальное око допотопной камеры мастера Анатоля. Снимки как один были безобразны. Одинаково уродливые, одутловатые или костистые, эти рожи навевали кладбищенскую тоску, разогнать каковую можно было только сардоническим хохотом. Подолгу мы с подружкой покатывались со смеху, проецируя на фотобумагу одну за другой незамысловатые рожи, самим народом находчиво названные протокольными. Были здесь в



большом количестве надутые спесивыми шестнадцатилетними соками обоих полов поросята с невысокими лобиками и строящие торжественную мину при вступлении в обманную игру с государством, прикалывавшим с фальшивой улыбкой паспортистки их будущие убогие судьбишки к первому в их коротенькой жизни удостоверению личности. Что из этого выйдет, можно было разглядеть тут же: заморенные женщины, задержанные и озлобленные матери семейств и хозяйки, сизомордые даже на черно-белых фото пьющие горькую работяги или совслужащие мужеского, судя по пиджакам, полу с тоскливыми взорами парнокопытных животных, навьюченных и забытых на жаре, устававших даже отмахиваться от мух. Ни на одном снимке не было не то что подобия улыбки, но даже проявления живости где-нибудь в уголках губ или уголках глаз, даже проблеска сознания, —

и мы смеялись до упаду, подталкивая друг друга локтями, мол, гляди, гляди, что за рыло, надо же, а эта морда, сдохнуть можно, а тот болван, еще почище, ей-богу, да нет, ты только взгляни, тетка-то, тетка-то сморгнула, придется пересниматься, да только вряд ли ей это поможет, —

а собирательное протокольное лицо народа, застывшее перед казенным объективом, желая выглядеть на официальном документе, смотрело на нас коллективным взглядом населения, смотрело с немой и тусклой укоризной, на нас, двух расшалившихся и грешных своих детей, урывающих у нищего своего времени, у жадной на исполнение самых простых человеческих желаний нашей страны, в нерабочие и послеучебные

часы, тайком от родителей, учителей и начальства бесхитростные свои тайные радости, не скрашенные ни страстью, ни любовью, ни теплотой, одним лишь вот этим смехом, ибо были мы юны, глупы, беспечны, человеческие детеныши, не ведающие еще ни что мы, ни где, ни что с нами делают... Красный свет фонаря, ванночки с проявителем и фиксажем, десятки, сотни покойницких морд, которые приходилось усердно умывать в большой раковине, усердно сушить и гляцевать, спертый воздух и неряшливый запах, хилые девчоночьи ноги с несоразмерно большими ступнями в несвежих чулках на неметеном казенном полу, шуршание карамелек, вкус дешевого вина на устах, безвкусные мокрые поцелуи, торопливые соединения в ворохе ненужной одежды и боязливое ожидание, как бы кто не пронюхал-таки, чем мы здесь занимаемся беззаконно в государственной лавочке за закрытыми дверями в этот поздний зимний час посреди заметной Москвы, —

так бы все и шло, пожалуй, если б Берта не слегла с гриппом (я и сейчас вспоминаю эту старуху-еврейку с симпатией, ведь была она явно чудачкой, а помогала нам вполне бескорыстно, глядя на дело ветхозаветными глазами, но с языческой простотой и мудростью). Пару дней я не мог дозвониться до ателье, никто не брал трубку, и, пряча во внутреннем кармане приторно-сладкий кагор, два мандарина и шоколадный батончик, я прикатил незвано, переполнившись бродящими, рвущимися наружу соками. Нежилой дом вымер, витрина мастерской черна и пуста, но, прильнув к задрапированному окошку студии и продышав на стекле рваную дырочку, я почувствовал в глубине слабое красное мерцание.

Я дернул дверь, она подалась, я шагнул в темную приемную, столкнувшись лбом с рогатой деревянной вешалкой об одной ноге, прижал к груди скромные свои гостинцы и, шаркая, стал двигаться наугад, вытянув вперед свободную руку. Наткнулся на обтянутый клеенкой высокий стол, напоминающий пюпитр, для съемок лиц младенческого возраста, узнал под пальцами пупырчатую холку дырявого пластмассового коня, коим фотограф, мрачно манипулируя и всхрапывая (что имитировало ржанье), добивался от несмышленных клиентов оцепенелого ужаса, принимавшихся истошно выть, лишь когда это выражение успевало попасть на фотопластинку. В конце коридора забрезжил путеводный красный свет. Я хотел было окликнуть Галину, но звуки удержали меня. Я добрался до порога комнаты для отмыывания отпечатков, там шла нешуточная борьба. Глаза мои обвыкли, я отчетливо разобрал фигуру фотомастера, вполне одетую, размашисто и напористо, с толчками и пируэтами вращающую крупным задом, как если бы он крутил хулахуп. Под его полосатым могучим животом что-то белело, и я скорее догадался, чем рассмотрел, что это голый маленький задок моей скромной подруги. При каждом раскачивании она ойкала, взвизгивала, плечики ее мотались как тряпичные, головка болталась над самой раковиной, на краю которой она лежала животом. Должно быть, немые умытые морды, плавающие в раковине слоями, и сейчас смотрели на нее оттуда все с тем же тоскливым осуждением. Ручки ее сжимали фаянсовые края так судорожно, будто она сопротивлялась быть утопленной, ножонки, обутые в сапоги, что не могло не удивить меня, совсем иначе

представлявшего себе всю механику этого дела, болтались, как ватные, лишь иногда судорожно поджимаясь, будто со страха перед высотой. Но ни жестокость фотомастера, ни полная беззащитность бедняжки не вызвали во мне ни гнева, ни сочувствия. Скорее, меня завоорожили непривычные для моего слуха раненые клики любви, что она издавала.

Анатоль продолжал подкидывать и терзать лаборантку. Она была так податлива, словно и впрямь стала голосистой куклой, и он прочно держал ручищами ее щуплые тазобедренные кости. Наконец, не выдержав грубой и дерзкой работы, что свершалась внутри ее слабого тельца, она вся испружинилась, изогнулась, застонала, сжимая смертельно зубы, а потом с тяжким криком рухнула лицом в раковину, и от ее патлатых волос пошла по воде рябь. Тут маэстро всхрипнул точно так, как изображал на сеансах коня, потряс перед собой ее обмякшее тело, снял с себя и поставил на пол. Легонько ее отстранив, он зачерпнул пригоршню воды, точно хотел напиться, помыл себя, потер, стряхнул руку, будто высморкавшись в пальцы, поджал живот и выпятил зад, убирая хозяйство и застегивая ширинку, и не спеша удалился мимо меня в свой кабинет, обдав на прощание смрадным запахом пота и перегара. Девочка прислонилась к краю раковины, в красноватом полусвете ее изумленное и глупое лицо казалось мне красивым; глаза смотрели в пространство пусто, она едва улыбалась. Я видел потом на женских лицах это выражение туповатого изумления и никогда не переставал изумляться ему в свою очередь, опровергавшему на чисто тома мужских сонетов, стансов, баллад и прочей

дури, насочиненной со вздохами о половой любви. Через минуту Анатолий вышел из кабинета в своем драповом пальто, в примятом пирожке, с портфелем гармошкой, она слабо крикнула вы уходите, ответа не последовало, лишь покидая а т е л ь е, он произнес безо всякого выражения три на четыре пятнадцать раз по три, четыре на шесть с половиной каждой позы по штуке. Дверь хлопнула, и он растворился в тогдашнем декабре, —  
навсегда.

Я тоже выбрался на метель, оставив лаборантку наедине с фотоувеличителем, глянецвателем, парфюмерными банками и бензиновой зажигалкой с кремниевым колесиком, под взорами наших людей, лица которых три на четыре предстояло ей отпечатывать, проявлять и фиксировать. Я зубами вытянул из бутылки пробку, пил приторное вино на снегу, без вина будучи пьян, плакал, но не от обиды, нет, от хмельного восторга нового знания, от благодарности ей и будущим своим подругам, от горячего тока жизни, ведь в те годы мы еще не ведали страха, правда, страха, который заставит нас позже поверить в искренность, доброту, сострадание, во все слова, что придумали люди, пугаясь одиночества и смерти; ведь мы были только любопытными пчелами, летящими от цветка к цветку, только смеющимися пчелами, —

и пока мы смеялись, малолетние греховодники, прижимаясь друг к другу в старом домишке на Каляевской что снесли нынче наедине с народом и судьбой в кукольном фотографическом ателье кто выучил ее этому слову

## МОТИВ КОРТАСАРА: УВЕЛИЧЕНИЕ

Нервный юноша хочет стать фотографом. И вот перед ним — курортный снимок (группа отдыхающих на фоне фонтана), его принесла клиентка (ноги толстые, толстый зад, грудь большая, сама крашена перекисью водорода, но стрижка аккуратная и молодая шея: вы — фотомастер? Глупые глаза растеряны: вот, посмотрите, можно ли переснять отсюда два лица, напечатать отдельно, я и подруга? О чем разговор, каков размер, сколько штук, вас я вижу, но где подруга? Это друг, создается заказчица, вспыхнув, вот этот товарищ.

Внизу — надпись (черным шариком по негативу, белым ученическим почерком на отпечатке): Гурзуф. И лаборант (он лаборант, никакой он еще не мастер) по молодости удивляется вслух — он ведь тоже был в Гурзуфе как раз прошлым петом. В августе, волнуется женщина. Тоже в августе?

Теперь представим юношу двадцати одного года на рубеже двух десятилетий: он слушает «Сержанта Пейпера» и «Белый альбом», он стрижется (не стрижется) длинно, он шатается по кафе, валандается большей частью без дела, сексуальный его опыт (как у многих девочек и мальчиков его поколения) далеко обогнал опыт душевный (что, впрочем, в ряде случаев и гигиенично), он — недоучившийся студент, от срочной службы в армии освобожден и хочет стать фотографом (в семье профессора математики) по врожденному ли любопытству к вещному миру, по отвращению ли к точным наукам (при известных к ним способностях), по гуманитарному ли воспитанию на руках женщин (при отсутст-

вии склонностей к музыке, живописи, словесному сочинительству и даже иностранным языкам), вот вам и источник неудовлетворенности, а значит — и честолюбия (как сказал бы фрейдист), созидательных порывов (весьма сомнительных) и несколько истерического прилежания в выбранной области — время от времени.

У юноши не развита воля, он подвержен тоске и мечтаньям, ничего не умея — находит и холит в себе Призвание, сам уж очарован тем, что у него выходит (не выходит у него пока ровным счетом ничего), а пуще — тем, что получится впредь, делит время свое (а времени у него — вагон, даже в лаборатории предоставлен самому себе) между краткими запоями вполне дилетантского творчества и длительными мечтаньями (подчас с вином и подружками — тоже свойства весьма сомнительного) о скорой награде и, как водится, признании. Вот сейчас снимки его возьмут на выставку (на какую, он их никому не показывал), опубликуют на обложке иллюстрированного журнала (какого, он их никуда не посылал), его заметят, откроется перед ним прямая блистательная стезя (не знает еще ничего о противоборстве художника и стихий, как естественных, вроде отсутствия погоды, так и вполне сказочных, исполненных то страха, то соблазна), и, разумеется, томится, рвется прочь в волны вольной профессии от постылой необходимости прозябать в фотомастерской за пересъемкой, увеличением, черно-белой печатью и ретушью; несправедлива жизнь к молодому таланту, опутывает рутинными обязанностями, унижает потребностью зарабатывать себе на карманные расходы (после отчисления из университета отец — не выдает), но и уволить-

ся нельзя, пойти по Руси странником с фотокамерой на груди, начнут насильственно трудоустраивать, пока сюда не зачислился — участковый не раз им интересовался,—

душно; сиди в темной комнате, переснимай насупленные лица с карточек паспортного размера, ретушируй, отпечатывай, вручай простоватым старушкам, которые при взгляде на твою работу тут же и зальются слезами (и чем здесь развлечься) Отчего умирают их сыновья, старушки рассказывают охотно: замерзли в сугробе, угадали попасть на производстве под пресс, каток, высокое напряжение, а в такую вот духоту и жару (горят даже за городом торфяные болота) приставляются дома под утро от остановки сердца в отсутствии опохмелки или хоть таблетки нитроглицерина (я-то ему говорила, но Лидка, Наташка, Зойка, как разошлись, только деньги давай, костюм из пенсии сама ему брала, а она права детей тоже кормить нужно, в нем и схоронили, не успел поносить), но не всегда находятся у старушек индивидуальные фото, бывает, приходится увеличивать беззаботное лицо одного из трех четырех солдатиков, обнявшихся за плечи и талии и почти неотличимых друг от друга (снимок перед демобилизацией) а то и окаменелое с молодыми усами лицо притюкнутого парня в топорщащемся черном костюме под руку с также замороженной Веркой, Зойкой, Наташкой в фате и белом платье (на казенном ковре в день регистрации акта их нового праздничного гражданского состояния). Сливаются эти лица для нашего юноши в одно напряженное, глаза уставлены в объектив, не сморгнут, и при увеличении, при внимательном вглядывании в само это



выражение (в само отсутствие выражения) кажутся различимы (в безжизненности взора, в оторванности пуговицы у ворота) будто признаки будущей скоростижной гибели (что ж, наш юноша прав, в том и прелесть фотографирования, что камера — соглядатай, камера — разоблачитель). И вот подсматривает он обрывки чужой, незнакомой ему жизни (и смерти) в замочную скважину своего ремесла, кажется себе первооткрывателем того, что спрятано было и от равнодушного фотографа, и от самой природы...

Заказчики — все больше женщины: то печатаешь дачные снимки (пятилетний бутуз держит в руках белый гриб), то из туристического похода (клиентка в кедах, в обтягивающих большие ляжки штанах помешивает в котле ложкой, потом она же, обнажившись до купальника, позирует с закрытыми глазами, будто играет с фотоаппаратом в жмурки); тут и неуклюже-развязные дурищи с косметикой по прыщам (с дружками по подъездам, но эти за кадром), и милые человеческие зверьки лет восьми от роду (второй класс) с тощими косицами, с серьезными лобиками, с крепко сжатыми зубами, чтоб не рассмеяться; долговязый подросток демонстрирует попавшуюся на крючок щучку; девочка в джинсах на крыльце деревенского дома расчесывает гребешком кудлатую кривоногую дворнягу с изумленной короткой мордой; студенты босиком и в штормовках (при увеличении различимы вымпелы на рукавах — МАДИ) поют неслышимую песню, держа над гитаристом кусок полиэтилена; гладко прилизанный старший лейтенант пехоты — с чемоданом; опрятная старуха смотрит послушно, руки сложив в передник; улыбается юный демонстрант,

сидя верхом на папаше и мусоля уди-уди; школьники в сапогах и нейлоновых куртках окучивают свой сад (и это единственный случай, когда любительское фото запечатлело трудовой порыв). Но каждый раз под увеличителем на периферии кадра можно разыскать множество деталей (это и есть любимая игра лаборанта), закрававшихся по недосмотру, даже в Центре иногда — неожиданные подробности, каких не застанешь на газетных фото: поющий студент держит лапу на голой коленке соседки, мальчик готовится наставить приятелю рожки, школьники на заднем плане лишь нагло ухмыляются, опершись на лопаты и грабли, а верховой демонстрант снят на фоне портрета, причем голова седока угодила основоположнику в бороду; мужская волосатая рука, поддерживающая голого малыша, неуверенна, позади маячит другая женская, а из-под подставленной загару толстой одутловатой ляжки нахально подглядывает девица лет пятнадцати застигнутая за чисткой картофеля или грибов, —

и бесконечен этот орнамент, в глазах рябит от не резко снятых тел, собак, лиц, растений, знамен, фуражек, и, может быть, еще не раз пожалеет самонадеянный юноша, что не оставлял себе каждого снимка по штуке, но отбросил сданные ему судьбой на руки карты; ведь мог бы позже разыграть из всех этих персонажей обширный реалистический пасьянс, сколлажировать, скажем, лейтенанта с девицей-автодорожницей, заставить демонстранта удочерить девочку в джинсах и лохматую собаку, осестрить покойного ныне солдатика, а в мужа овдовевшей Наташке ли, Верке ли подбросить ничего не подозревающего, бесшабашного до поры до

времени босоногого гитариста. Но наш юноша как будто предчувствует, что это — не дело фотографа, ему можно простить — юн, тороплив, занят собою, увлечен лишь своею забавой — подсматривать ненароком оброненные детали, будто в них самих по себе есть хоть какой-то замысел и смысл. К тому ж жизнь этих туманных, лишенных всяческого изящества (даже более или менее продуманного расположения в пространстве) фигур — чужда ему, далека от него, непонятна, —

как, впрочем, далека и другая, элегическая, из его собственного семейного альбома. Там из коричневой дымки немислимого прошлого из-под широких полей белых шляп спокойными чистыми глазами смотрят женщины в белых муслиновых платьях; там ослепительные перчатки по локоть, в них — стеки и веера; там никто не смущается под взглядом единственного глаза камеры-циклопа; там холены бороды и усы, а кителя, сюртуки, мундиры и рясы — умны, самоуверенны, безмятежны. Дымчатые поля овальны, нарядны вензеля и виньетки, и даже имена фотографов, начертанные под портретами, оперны и витиеваты. Этих дам и господ никому и в голову не приходит почитать умершими, как, глядя на маски и бюсты древних героев из учебников по истории Рима, никто никогда не думает о смерти, но лишь о подвигах, роскоши и величии. Может быть, поэтому наш юноша, получая в постель эти альбомы вместе с градусником и малиновым вареньем в дни зимней простуды, в детстве всегда полагал своих предков просто вышедшими за дверь, отступившими за кулисы жизни, однажды севшими на пароход и уплывшими неизвестно куда — но отнюдь не покойными. Но не было и

моста между этими двумя жизнями: нынешней, веселой — и сумрачно-коричневатой, старинной, и юноша парит без поддержки посреди исторической пропасти (на его молодые крылья еще плохая надежда), и что он должен испытывать, как ни одиночество, — и он испытывает его.

Как ни странно, отчасти это одиночество провинциала (всякая, самая парижская юность — наша провинция), смутно догадывающегося, что где-то за незнакомыми окнами — иной и блестящий мир, но в большей мере — юношеское воспаленное чувство сиротства, постоянно ноющая пустота в том месте, где каждый помещает в душе иное, но подобное себе существо, и, кто скажет, что юноша наш был готов к любви, тот тоже не будет не прав...

Впрочем, вернемся к теме — теме подглядываний и совпадений (и только беллетристы считают последние — иронией судьбы, судьба же — не иронична, она играет в кости, чуждая как добродушия, так и злокозненности, руководствуясь лишь теорией вероятности). К ней нас заставляет обратиться все тот же групповой гурзуфский снимок, что принесла в лабораторию толстушка заказчица. Попробуем представить себе фотографа в соломенном сомбреро, в сношенных сандалиях на больших пыльных ступнях загорелых ног; август, набережная, толпа, фоном — фонтан и корпуса санатория, построенного в большом стиле конца тридцатых годов; группа здешних отдыхающих сбилась в кучу, и молодцу в сомбреро не сразу удастся обуздать это пугливое и бестолковое стадо; но вот наконец мало-мальски пристойный порядок достигнут, отдыхающие построились и

пооткрывали рты, уставясь в окошко камеры; птичка выпорхнула, и фотограф отер пот со лба;

теперь — увеличение:

обладай наш юноша чуть большим воображением (впрочем, это лишь синоним любопытства), он задался бы вопросом, с чего крашенной перекисью водорода бабенке четвертой справа во втором ряду извлекать свое изображение из Душноватой глянцевой прошлогодней мути нерезкого халтурного курортного фото? И зачем тиражировать немолодую Женщину в захватски напыленной бесформенной панаме и больших пляжных очках, за которыми вовсе не видно ни глаз ее, ни мелких черт лица, и этого вот гражданина в носках и ботинках, хоть и жарища несусветная, со стальными зубами; в одной руке у него женская пляжная сумка, другая робко водружена — ради цельности композиции, надо полагать, — на толстую шею соседки; она же — игриво напряжена, смотрит в камеру, как на стартовый пистолет, с тем чтоб через мгновение после спуска затвора кокетливо высвободиться из неловкого объятия)? Так и застыли они навеки: стыдливый охотник с ненатуральной стальной улыбкой и пугливая счастливая курочка, лелеющая свой многообещающий испуг, и какова будет судьба этих, новых отпечатков? Пошлет ли она ему их заказным письмом, тайно надеясь если не разрушить провинциальную семью пансионатского ловеласа, то хоть лягнуть его жену, напомнить о себе и о своей уступчивости (привыкли, что для них все легко и даром); или же, всплакнув (сарафанчик-то хорошо сидел, удачные были и фасон, и рисунок), спрячет в ящик комода к другим дорогим вещам, как-то: старая трудо-

вая книжка, новая пенсионная, оплаченные еще в том году междугородные телефонные счета, книжка сберегательная, книжка платежей за коммунальные услуги, паспорт с просроченным гарантийным талоном на починку швейной машинки и несколько поздравительных открыток со знаменами, цветами и добродушным Дедом Морозом, а также чудом завалившийся старый-престарый карманный календарь с аккуратно отмеченными «днями»? Но нет, это не интересует эгоцентричного юношу, нет места среди его игр чужим сантиментам, подробностям посторонних, смешных лаборанту, немолодых чувств; он, как сеттер, бегающий челноком поля негатива, с азартом подмечая, что там есть пожива: случайное сцепление голов с животами, надстройки из чьих-то локтей к чьим-то носам, многорукость одних при полном отсутствии конечностей у других тел, парение лишенных опоры предметов. Десятки очарованных островков для путешественника со вкусом к причудам и странностям мира — они при верной выкадровке и точно угаданной степени увеличения превратятся на отпечатках в страшноватые человеческие гротески, которые будет нелегко разгадать, если искать в них сходства с тем, что многие по привычке считают натурой (но, собственно, когда и заниматься этим рутинным сюрреализмом, как не в двадцать лет).

И вот одна из контролек: слева от основной группы торопливый фотограф успел ухватить часть посторонней фигуры. Девушка (да, по всей видимости, это — девица в светлой кофте с воротником апаш), проходившая в этот момент мимо, отвернулась от фотокамеры, видна лишь часть скулы, лишь прядь темных взлохмаченных

ветром волос, угол светлого лица, но при еще более сильном увеличении — и краешек глаза, и распахнутые ресницы, даже ямочка на смуглой от загара щеке (но, возможно, это уже дефект материала), и краешек чьей-то тельняшки (может быть, это ее спутник).

И здесь — самый важный момент, так что по порядку:

юноша (в скобках отметим, он не обладает тренированной волей, запас внутренней прочности, по видимому, незначителен, из обеспеченной семьи, а значит — притязательный, шляется по кабакам, знается с проститутками, покуривает анашу, никак не подготовлен к трудностям художнического бытия, полон иллюзий, которым предстоит в свой срок разбиться) желает стать фотографом, пока же служит лаборантом в фотомастерской. Не имея ни должных навыков, ни сил для устойчивого вдохновения пуститься в свободное плавание по морю избранного им искусства, он пока пробавляется тем, что изо дня в день, переснимая и увеличивая по заказу чужие снимки, извлекает из них и коллекционирует забавные, на его взгляд, посторонние и случайные подробности (брак фотографов-любителей, не умеющих или не успевающих отбросить и оставить за рамкой кадра непредсказуемые проявления неугомонной натуры). Однажды немолодая женщина приносит ему в мастерскую групповое курортное фото с просьбой переснять и отпечатать то да се, ее саму и ее друга, избавив таким образом ее воспоминания от не идущих к делу посторонних морд (и она поступает в этом случае как взыскательный профессионал, впрочем, ее санаторский флирт — лишь наше предположение, но это несущ-

щественно). Под снимком — название крымского поселка и дата, и надо ж такому случиться, что именно в этом местечке и в это время побывал и сам лаборант. И вот, развлекаясь привычно, впечатлительный юноша обнаруживает с краю переснятого и увеличенного им изображения фигуру девушки, точнее — намек на фигуру, и загорается этим вполне случайным открытием.

Он — одинок (об этом мы, кажется, уже говорили), естественно, что в свой срок малютки зовут маму, девочки ищут отца, девушки ждут ребенка, женщины мечтают о муже, шарик летит, а юноши — юноши хотят иметь пару. Но отчего изображение, а не живая натура (летние московские улицы. Полны подходящих девиц)? И отчего именно она, а не любая другая с этого же снимка (там были и хорошенькие), незнакомка, снятая в три четверти, к тому ж безвозвратно потерянная в глуши прошлогоднего гурзуфского лета? Только ли из-за рубашки апаш, из-за ямочки на щеке (повторяем, здесь возможен и технический брак, качество снимка отвратительное, увеличение слишком большое), из-за распущенных волос, из-за длинных ресниц, наконец (и еще неизвестно — были ли и они)?

Предположение, лежащее на поверхности: нашему юноше фигура показалась знакомой. Нет, он не узнал ее, разумеется, но что-то в ней напоминало ему явь ли, сон ли (как и всякий мечтатель, лаборант никак не мог довольствоваться наличествующей реальностью, и чем больше этой самой реальности проходило через его руки, тем ненасытней становилась мечта), неясную какую-нибудь юношескую грезу о слиянии и совершенстве. В его возрасте это случается сплошь и рядом — следишь с



волнением за всяким ускользящим силуэтом, тянешься к неуловимому; до неприличия пристально рассматриваешь лица женщин путешествующих, или в больнице, или в трауре, или в церкви; это тоже своего рода увеличение — лишённые рамки повседневности, женщины превращаются в эскиз, в голую, очищенную от всего житейского возможность, —

так что ж говорить о нашем юноше: случайный снимок, летучий след на светочувствительной фотозмульсии, эфемерный отпечаток — это ли не пища для фантазера? Так или иначе, но лаборант на той же неделе берет отпуск в лаборатории, выклянчивает у папаши денег, рвется во Внуково и захватывает первое попавшееся место на рейс Москва — Симферополь, предварительно позубоскалив с четверть часа с диспетчершей аэропорта. И через недолгое время он уже совершает посадку на земле Крыма, по-щенячьи принимается 'к блаженным запахам летней южной земли, ветерка с гор и перегретой дневной пыли —

и устремляется на побережье.

Впрочем, кроме эротического объяснения импульсов нашего лаборанта можно привести и иное, социально-психологическое, что ли, толка, проиллюстрировав его, однако, психоаналитически, а именно — навязчиво повторяющимся сном юноши, в коем звучал, быть может, голос рода, укор крови, стремление к благородной симметрии (подсознательное) как единственному способу заполнить ноющую пустоту и утишить тоску по подобному:

будто входит он об руку с н е ю в московскую барскую квартиру (в какой никогда не бывал) с портретами

в рамках, семейной бронзой, запахом старых книг, увяданья, древней мебели, выдохшихся неведомых духов. Его покойная бабушка (она умерла в коммуналке, когда он учился в девятом классе, снисходительно относилась к любым его проказам, смешивая уличных девок обращением «барышня») — бабушка в гостиной раскладывает на овальном столике пасьянс; он подходит к ней, она улыбается, хочет поцеловать в лоб. «Я не один,— говорит он.— Я хочу представить тебе...» «Не один, разве?» — все улыбается она и треплет его по волосам; и верно —

нет никого рядом с ним, лишь ладонь его, сжимавшая только что ее пальцы, еще влажна...

Но было бы натяжкой с нашей стороны утверждать, что наш юноша, достигнув Гурзуфа, только и делал, что, томясь и тоскуя, искал свой идеал. Ничуть не бывало. Тут же смешавшись с толпой таких же юнцов, прибывших из всяких больших городов страны, со свежей порослью на нахальных лицах, в лохматых шортах, созданных при помощи ножниц из потертых джинсов, с крабьими лапками на незаматеревшей груди, в патлах, нашейных платках, кричащих майках, он предался незамедлительно прослушиванию Челентано на террасе коктейль-холла, фланирование по набережной в обнимку с тощевой девицей, тоже босой и патлатой и напоминавшей ему Джейн Фонда, после закрытия бара и наступления темноты валялся на лежаке на пляже под дребезжание гитар, смех, вздохи и стоны, вдыхал терпкий запах пахнущих солнцем плеч и соленых сосков и губ, ночевал под открытым небом, утром подтягивался к «тычку» с кислым сухим разливным дешевым вином,

лопотал на амерусском полублатном эсперанто, воровал пищу в столовых (скорее по традиции, чем из нужды или жадности), короче, принимал деятельное участие в общем балдеже, хиппеже и тусовке. При этом он носил-таки в нагрудном кармане размытый неясный снимок незнакомки в три четверти, но вовсе не ждал ее встретить, не озирался на улицах, даже сакраментальное место съемки поленился разыскать, хоть и задумывался иногда, наматывая на палец прядь волос своей, случайной подруги, взглядом упершись в морскую даль, где видел, скажем, белеющий одинокий парус.

Однажды, поспешая по своим неотложным делам (на приморском юге у любого шалопаю полным-полно неотложных дел), он наткнулся на толпу людей, бестолково топчущуюся возле фонтана. Фотограф в сомбреро, с кавказскими усиками и сильным украинским акцентом дирижировал ею, стоя за своею треногой; наконец, некое подобие канонической групповой композиции было достигнуто, фотограф припал к окуляру, — и наш юноша узнал всю картину. Конечно, вот и фон — корпуса санатория Приморье, вот и группа отдыхающих, запечатлевающих на память перед экскурсионной поездкой на прогулочном катере в Никитский ботанический сад; вон и немолодая бабенка в пляжных очках и панаме, в сарафане красивого ситца, рядом — гражданин в салатовой майке (темное потное пятно меж грудями), одной рукой придерживает подругу, в другой — женская сумка с выглядывающей из нее металлической дыхательной трубкой для подводного плавания, —

птичка вылетела, фотограф отер пот, наш юноша отчетливо понял, что все это уже было. Конечно, конеч-

но, он проходил здесь прошлым летом с приятелем (на том была еще такая полосатая маечка, похожая на тельняшку); они обогнули группы отдыхающих слева, юноша повернулся к спутнику и, должно быть, что-то сострил. На нем была легкая рубашка апаш, а волосы — еще длиннее, чем сейчас... Что ж, малютка находит материнскую грудь, девушки рожают, женщины подчас выходят замуж; шарик голубой, юноши ищут пару; ты же нашел самого себя. Для начала неплохо, будь здоров, мой милый.

## НАРУШЕНИЯ В ПЕЙЗАЖЕ

Тополь (гусиное перо, видится в контражуре) смутное поле (отсвечивает роса) три горизонтали — чернильной воды в реке, отдельной полосы тумана, противоположного коренного берега, покрытого густым орешником: спуск затвора, перевод кадра, шорох внутри камеры. Чуть левее — поле неясная река (крона касается края рамки) три пятна белой будки белого баке на белой створы на плесе: спуск затвора, перевод рычага. Духовая музыка с утра играет в деревне (двести дворов, кто-нибудь мог умереть). Повернуть назад — тополь сад проблики беленой стены, голубоватые в рассеянном свете: затвор мелкий дождь музыка слышится глуше. Нужно бы жить не в доме — в шалаше, под гривой вишневого дерева (сад запущен и птицы сыты, ягоды не склеваны) на краю виноградника поздней лисьей лозы по женскому имени остерегаться, неся от колодца полные ведра, наступить на скатившуюся к ногам перезрелую дыню (расползается без хруста утробно сочится мякоть пачкает траву семенной клубок — жухлые нити вялые ткани — съезжает набок, слизистый душный), — хозяйка не позволит. Постелила в парадной гостиной (рябь в глазах от ковровых узоров), поставила на пол теплый таз, держала на руках крахмальное полотенце, пока мыл ноги, комкала бахрому в маленьком кулаке; лишь во вторую ночь разрешила перейти на заднюю веранду (серые обои кукла цветной карандаш) ближе к саду, набрякшему и томящемуся. Сад — стыд хозяйки; хоть и приглашает деревенскую родню, нанимает работников прополоть огород, полить помидоры персики,

собрать урожай под грецким деревом, зарезать визгливого и вонючего борова, опалить тушу на соломе перед воротами, окатить колодезною водой рассохлые бочки, чтоб набухли доски, крепче сели ржавые обручи — до сада руки не доходят, гость сам собирал вишни себе на вареники, —

нечаянный гость, плодоносящий сад.

Дом богатый со своим колодцем с двумя антеннами над крышей с приезжающим из райцентра (только днем) на пегом от грязи автомобиле скажем доктором местной больницы или руководителем хора, и здесь к месту представить год назад похороненного мужа немногим старше ее, но опирающегося на палку язвенника или там чахоточного бывшего хозяина, ковыляющего от клеток с кроликами к курятнику, тускло взглядывающего на белую и слишком длинную для коротконогой фигуры шею, которая делает и всю фигуру как бы полуодетой. Он шаркает кишечник печень селезенка не справляются с работой разбрасывающая пшено рука дрожит. Он горбится не хочет замечать увитую веселым виноградом беседку для гостей, —

хозяйка гостеприимна. Фотограф скрылся у нее по случайному знакомству (проезжал со своей бледненькой женой по этим местам прошлым летом, торговал у хозяйки орехи), но приняла как жданого гостя, и вот:

не видят соседки докторских «Жигулей», но — одинокую фигуру в беседке, но — цветы на столе, хоть и не именины, но (удавалось подглядеть) — холодец из гусиных ножек, домашнюю колбасу, инкрустированную по густо обведенному салом срезу, но — дымящуюся в чугуне мамалыгу к жаркому, пряный машдей с холод-

ной рыбой, соленья к терпкой самогонной водке, приправленной для вкуса и запаха белым кубинским ромом, но нынешней уже осени молодое красное вино в широкогорлых кувшинах. Застольные рассказы округлы, как сама симметрическая жизнь с двумя мужьями двумя дочерьми (оба в могиле, обе в городе), но слушает ли гость — не понять, щурит глаза тербит салфетку покорно съедает обед вдвое больше, чем хочет и может съесть, тянет вино из высокого стекла (или по рассеянности не замечает, что живет с одинокой вдовой под одной крышей, что рубашки всегда стираны) по утрам рассматривает свет от солнца из косых щелей мужчина молодой одет чисто приехал на машине со столичным номером подарки дарил (все нужное) идет по деревне держится достойно, она невзначай присела на краешек спросил без приязни — пора ли вставать, смутилась подхватила шпильку подол порхнул икры полные густая грудь стиснута под кофтой пальцы мелкие чистый лоб (нет-нет, потом и будет вот так входить бесцеремонно), —

спуск затвора, перевод кадра.

Целые дни щелкает Фотограф камерой (на девок не смотрит с мужиками не заговаривает со стариками здоровается вежливо) она объясняла, что за это получает деньги (сама плохо верила) ей фотографироваться не предлагает, и хозяйка смирилась бы, коли заглядывается на мутную воду в реке неприбранный стыдный сад, если б не сплетня (злы люди, испорчены языки), будто на том берегу у соргового поля снимал перевозчицу Нади убогое лицо с беззубым ртом (даром что двумя годами младше) две бордовые щеки глаза с детским

страшноватым свечением — оскорбительная причуда. Одним веслом боролась Нади с течением, забросила юбку выше колен, кокетничая в лодчонке на возвратном пути (поняла, что нравится), Фотограф смотрел с волнением на искореженные пальцы босых больших ног темные колени сохлые ляжки, с отвращением вдыхал запах напитанной ее одежды, дал ей за все на вино. Она уносила деньги пе косогору, пряча на груди, как детеныша. Перед вечером видел ее еще раз (имя городской проститутки) в пыли красноватой улицы: мимо скрипя проплывали запряженные парами арбы проезжали мотоциклисты, она сидела закинув голову закрыв грудь черными руками пела со спокойным лицом, никого не узнавая. Хозяйка поджидала у плетня, сутулилась (выбрал такую-то). Фотограф решил легкомысленно, что индугенцию завтра же выменяет на шоколад (ах, эта паутина гостеприимства, но иначе здесь не устроишься, кроме водки и шоколада в магазине ничего нет) от ужина отказался внимания не обратил на затаенный гнев в углах губ. Утром разглядывал теплый свет от щелей веранды (печальная привычка вполне счастливого человека) вспоминал тощий штакетник сырой ограды клочок старой травы бледную пустоту в северных соснах над песчаной осыпью (автомобиль аппаратура пара джинсов, все что оставил себе) заметил воровку. Положим, Фотограф заметил ее посреди сада (узкая ситцевая спина продолжение бедра — ивовая корзина кисть оставленной свободной руки перпендикулярна локтевому суставу), но лица разглядеть не мог, сад еще не терял листву, и воровка лишь промелькнула за бесформицей смородинных кустов (ветви темного кобальта



пепельная роса проблики голубоватого ситца), и есть одна лазейка рассмотреть и завтра узнать ее — неширокий прогал обок смородины (виноградник вдвинут в него краем), при достаточной глубине резкости можно отчетливо захватить и кусты и стволы яблонь и сходящиеся в перспективе виноградные ряды (даже крестообразные подпорки) и ее, остро взмахивающую длинными садовыми ножницами, то сгибающуюся то при встающую на цыпочки (пятка поднимается — щиколотки стройнее выше кривоватые ноги) до того, как она исчезнет, —

ибо она исчезла. Он вышел на крыльцо, она еще виднелась (дальним концом виноградник задирался вверх), но прикрытый салфеткой завтрак ждал на столе в беседке, откуда был вид на хозяйский цветник, могучую георгинную рощу и на отдельный колодец, украшенный на коньке (рукоделие покойного мужа) аляповатым петухом. Позавтракав, Фотограф застал за домом других работниц с теми же корзинами с теми же ножницами двух парней по пояс голых с потной черной порослью на грубой груди, сваливавших гроздь из женских корзин в тяжелую двуручную и носивших урожай на двор к давяльне, где уже громоздилась сладкая кровоточащая куча, полная мух. Выемки под яблоками колен воровки блестели от пота, но, разумеется, это слишком общая примета, как и грудь, стянутая на взгляд Фотографа лишним лифчиком, как и линия плоского живота, своим окончанием указывающая место лобка, как и банальный ситец платья (в том, что было именно платье, не юбка с блузкой, тоже нельзя быть уверенным) как и непокрытая темная голова, коротко стриженная.

Тем более что на другой день на ней была повязана по самые глаза косынка (лицо загорелое, маленькое), а голые ноги (подол высоко подоткнут) перепачканы глиной, серые разводы на икрах, солома на коротких блестящих ляжках. С другими бабами месила глину у недостроенного дома, жилистые мужики таскали саман на носилках забрасывали вилами на чердак, красношей парень работал среди других, а девка, которую Фотограф принял за невесту, беременная и рябая, помогала старухам располагать на кошмах, постеленных на траве, угощение. Дело шло к концу, граненые стаканы были расставлены, толстые ломти сала оплавилась на солнце. Беременная вынесла глиняный кувшин (пот заливал глаза, но утереть распаренное лицо не могла), красное вино (женское имя, лисий вкус) текло через край по лакированному боку расплывалось по вздутому животу, капая на юбку. Воровка месила, задрал подбородок (треугольник бледной кожи над кадыком-коготком), здесь же стояла бурая деревянная церковь (ради нее пришел Фотограф) с зачеркнутой косою ржавой полосой тяжелой обитой железом дверью. На замшелой паперти сидел бывший церковный староста (поп проворовался, храм бездействовал) в полосатой двойке, несмотря на жару, в темной широкой шляпе. Тайно он служил на дому крестил отпевал лечил травами снимал сглаз, заметив фотоаппарат, вскочил на ноги, сдернул шляпу, поклонился незнакомцу раз и другой, блестя исподлобья глазами (ненатуральные поклоны, шарлатанская предупредительность). Мужики уж бросили работу, воровка месила глину босыми ногами, закинув голову и глядя на крыши, возле которых низко у карнизов вились

ласточки, предвещая нынешний мелкий дождь, но она была не похожа на ту, что собирала виноград, как не похожа на нее та, которую он встретил возле чужого колодца. Сильной короткой рукой воровка вращала неподатливый ворот, но притворно натужилась при приближении незнакомца. Ведро гулко ткнулось в мягкий подгнивший сруб, вода сплеснула несколько секунд цокала глубоко внизу. Он перехватил ручку (мгновение они видели лица друг друга в колеблющемся глянце воды), подтянул ведро, поставил на землю. У нее во рту был леденец, она перемещала его от щеки к щеке, пока говорили, иногда вытягивая и морща потресканные губы. Мелкие дождевые капли осыпали их лица, где-то играла музыка (медный духовой оркестр), в паузах, будто выбивали ковер, хукал кожаный барабан. «У нанашей во дворе играют», сказала воровка (леденец промелькнул между губами), и неведомые эти панаши представились Фотографу на миг зловещими какими-то пузырями земли. Впрочем, оказалось, играют не на похоронах — на свадьбе. Она упомянула еще, что живет в городе, здесь гостит у матери; перед тем как взять ведро, сплюнула конфетку на ладошку, помедлила, положила обсосыш на сырой колодезный венец. Цепко взялась за алюминиевую дужку, пошла, подергивая попкою, приподнимая свободной рукой подол платья (все тот же бойкий ситец), но колени были не те, острые и худые, хоть запястье напряжено и изогнуто так же, как когда несла корзину через сад, —

тополь шалаш (чей-то огарок за ивовой стрехой) медная музыка, хозяйка Фотограф воровка,— все, что понадобится, пожалуй.

У ворот застиг пегие «Жигули»; руководителя хора — в беседке за обильным завтраком (губы хозяйки сложены сдобно). Полненькие коротковатые руки порхали, подавая то, подвигая это, Фотограф стал свидетелем особой предупредительности, адресованной не ему (ему—прохлада). Познакомились (Иван Константинович). Жевал удивленно парился в чинном пиджаке две залысины краснели, но разговор коснулся нынешних беспорядков, и с удовольствием подтвердил, обгладывая индюшачью ногу: беспорядки имеются. Воскресным днем на ярмарке снова задержали карманников, больные сильно выпивают, занимая койко-дни в больнице. Хозяйка напомнила, что беспечных приезжих грабят возле турбазы насилуют в кустах берите-берите накладывайте уголовных много развелось кушайте — не стесняйтесь даже на селе, к примеру — уехала в город семнадцати лет связалась с ворами села в тюрьму за квартирную кражу огурчики попробуйте вернулась к матери с дитем на руках: муж у ней в городе да нет у ней никакого мужа нагуляла с блатными ребеночка в совхоз не идет нанимается к хозяевам есть ли у нее документы. «А как ваши дочки в городе поживают?» — спросил Иван Константинович некстати. Фотограф лежал на постели поверх одеяла (сумка с фотоаппаратурой рядом на табурете), когда машина доктора завелась и отъехала. Хозяйка вошла без стука, принялась искать в платяном шкафу, стоя к нему спиной. Поза женщины, разбирающей белье: томительные движения плеч и локтей и спины (пахнущее теплом домашнее добро какая-то яркая вышивка какой-то снежный тюль или шифон случайная старая детская вещь), —

повернулась, разрушив композицию держа на руках ненужную тряпицу, рассмеялась деланно (сильный запах нафталина, и тряпица свесилась, Фотограф сел на постели): у самого двое детей, младший в седьмой класс ходит, тоже вдовец, говорит хозяйство в четыре руки поднимем, слава богу сама еще справляешься зачем чужому носки стирать на свадьбу-то пойдете со мной, на свадьбу надо, чтобы парюю.

Размесил дождь глину на деревенских улицах проваливаются вязнут парадные туфли уходят в грязь начищенные выходные башмаки, но выше все свежее глаженое чистое — ожидают молодожены, стоя обруч на крыльце нанашей, посаженных родителей, самых дорогих гостей. Утром вылезли уже расписанные в районном загсе из украшенной цветными лентами шарами целлулоидным пупсом на радиаторе машины, теперь принимают поздравления (едкая помада на щеке невесты подвенечное платье до полу жениховский черный костюм две золотые коронки — жених цыганист). Оркестр охрип под дождем, блестит медь от воды, музыканты вытирают ладони, но в очередной раз нанаш поднял руки, музыка забила загудела, новая пара гостей входит в ворота с подарком, схваченным ярким бантом. Невеста стоит с откинутой с лица фатой статная широкая в бедрах кажется старше жениха пышной зрелостью слабо и медленно улыбается, скрывая зубы, молодой же деревянен тербит в руке края подвенечного стыдливого газа, надувает желваки на смуглых бритых щеках. Чередуются приветствия чмокают умиленные губы скоромно цокают языки скользят нескромные взгляды по невестиному животу дрожат в ушах золотые серьги

толстые руки подпирают груди под красными кофтами перетаптываются ноги в жмущей обуви облегают телеса зеленый синий кримплен цветастый дефицитный шелк плывут арабские духи с красной москвой, и в сотый раз размешивают ногами грязь кухонные девки и тетки, на столе перед домом расставлена закуска под последний пропой, и клюют внизу серые скучные куры. Последняя пара званых отступилась от новобрачных, подобрались женщины и одернулись мужики, глотнула воздуха хозяйка рядом с Фотографом, нанашка пронзительно позвала за стол (дождевые капли в глиняных тарелках и в глиняных кружках и в граненых стопках и в складках целлофана, которым прикрыт хлеб. Из дома побежали распаренные бабы в разъезжающемся на груди гипюре, понесли широкие тазы с дымящейся говядиной картошкой голубцами в виноградных листьях, забулькал в графинах самогон, стали говорить тосты. Пили за молодых (цыган скалился не выпускал конец невестинной фаты, она же прикрывала глаза клонила голову набок для обязательных поцелуев) за родителей за мир за партию, и с заборов и с деревьев из-за хозяйственных построек сараев и хлевов смотрели лица подростков и лица детей, и наряженные с голыми руками девки сбились у ворот вороватой стаей. Плывет сивушный и мясной дух тянется застолье нетрезвая уже музыка ударяет по недосмотру на полуслове, когда очередным гостем сказано, про жемчужину, но не договорено про оправу, от самогона першит мутит от вида разваленных мясных залежей, хозяйка подсматривает за ним — и Фотограф бодро подливает им обоим вина. Пусть не смотрят на них явно, она-то знает, как едят их глазами, едва отвер-

нутя, да только нет в том греха, что пришла с городским гостем, будто с законной парюю, раз вдовья постель остается прохладной с ночи и не приходится вскакивать разгоряченной присесть над тазом, поливая кипяченой водой из баночки, не для кого нести смоченную в тепленьком тряпочку для обтирания, Фотограф же жуёт с усердием, За столом сидит прочно даже в том, как верхнюю пуговицу расстегнул — повадка, руки как у мужика от запястья широкие покрыты волосами вены пучатся, значит, сильные, не обратил внимания на кофту, что впервые надела, побрызгала под мышками из железного баллончика, теперь беспокоится за новую хорошую вещь, хоть и написано, что ткань не портит. И даже ростом показался Фотограф выше, когда вставали из-за нанашиного стола, оставив еще водку в графинах и недопитым вино; пошло движение среди тех кто стоял у ворот, зажглась над крыльцом электрическая лампочка, хоть едва начало смеркаться, и в этом ненужном искусственном свете было что-то казенное; молодые исчезли в доме, гости запереминались зашушукались, стоя в ожидании группами, говорили о своем, будто забыв о свадьбе но и в этом было что-то натянутое. Вдруг все смолкло, повернулись лица к дому, на крыльце были молодожены торжественней и застылей прежнего, остановились на постеленном ковре, глядя в сумерки, и нанаши стали по обе стороны с высокими подсвечниками в руках, обвитыми бумажными цветами. К свечам поднесли огня, зажелтели бледно два пламени, от одного к другому протянулся, повис длинный расшитый рушник, отделив молодых; медленно ступая — тронулись: нанаши, молодожены на шаг позади рука в руке,

гости парами (Фотограф с хозяйкой в третьем ряду), коротко переставляя ноги. Едва процессия вытянулась из ворот на треть, раздался девичий писк, два-три голоса подхватили, засвистел в пальцы парень, другие заулюлюкали, с десяток девок истошно завизжали запричитали завскрикивали, среди них определенно была и воровка, та, что сосала леденец у колодца, та, что смотрела на ласточек, сминая саман ногами и накликавая теперешний дождь, та, что прежде первых двух забралась в красный виноградник по имени Лидия, и, если б у нее было имя, так могли бы звать и ее. Крики звучали тесно, душно и от этого — еще более непристойно, и белые птицы слетали, испуганные, в сумерках с деревьев, как белые клочья. Колонна повернула в боковую улицу и прошла мимо церкви; староста, стоя на паперти с непокрытой головой, истово крестил воздух, и пола светлого пиджака оттопыривалась, но на него не смотрели, лишь нанашка подняла выше свою свечу, потому он (знала деревня) мог и навести порчу. Девки бежали попереди, держась, как прежде, стайей, вертели телами дули на свечи с визгом поднимали юбки, тыча в невесту пальцами, делали вид, что хватают грязь с земли, чтобы вымазать белое платье, но мертво глядела невеста, прямя спину, сведены были гладкие щеки жениха и стыли цыганские белки, блаженно и истово глядела нанашка, муж ее загоразживал свой огонь корявой ладонью Хозяйка подняла на Фотографа блестящие глаза, у-ж не боясь, что из толпы заметят ее блеск: тот смотрел торжественно и прямо, суровость к лицу (сама прожила порядочно), так и надо бы им идти, отдельно от забрызганных и ошалелых, бегущих по улице впереди и обочь.



Пальцы цепко сжимают пойманный локоть бедро мягкое жаркое на глазах светлые легкие слезы, —

и Фотограф не отстраняется, вот и портрет женщины:

обрезать неприглядные края затуманить при печати резкие черты ретушью свести двусмысленные пустоты — не слышно ни визга ни крику, только два помаргивающих глаза колеблющихся свечей (два туманных одувана на негативе при долгой выдержке) только слезы благодарности (всегда себя соблюдала, можно людям в глаза смотреть) только бледность чистого лба, будто сама невеста и невинна, только бумажные цветы, бесильно выющиеся у основания свеч, соединенных чистым рушником, за который не переметнуться грязи, только бледная фата, развевающаяся над ними, как хоругвь, —

только взгляд объектива, только спуск затвора, только тяжесть камеры на шее.

Тут улица открылась от огней, непристойные крики смолкли и девки брызнули в стороны, снова, будто в воду плашмя уронили сырую слегу, ударила, всплеснув, музыка, открылся сцепленный из кошм и ковров шатер, горящий изнутри ярким душным пламенем. Стали затягиваться по двое, протискиваться за прямоугольный — вдоль стен, с одной разъятой стороной — стол, торопясь занять места спинами вовне, лицами — к центру свадьбы, но вот дошло и до внутренних лавок, и набралось за столом жениха народу вчетверо против нашего, и безмужние девки и парни заняли край ближе к выходу. Вглядывался Фотограф в лица, воровку не мог угадать: все однопородные смуглые с густо-русскими бровями, да

и сама нанашка той же вороватой породы, с тем же голосом, грудным и визгливым (мелкий таз низкий задок шалый взгляд темная стрижка) — вскрикнула, едва расселись, влезла на стул во главе стола взметнула в руках неиспользованное несмятое белое полотенце, стала танцевать и петь и нахваливаться и молодую и расшитое полотенце из приданого сундука, где скоплено было таких за сотню, и пошла от нее девка с этим полотенцем и с подносом, на котором рюмка полная зельем, к первой паре. Выпил мужичок, тряхнул мощной, бросил кредитку на поднос, пока жена рассматривает свертывает покупку. Как поет нанашка, как пляшет, так и платит гость. Дошло до них, встал Фотограф, показался хозяйке еще шире прежнего, махнул рюмку и кинул на поднос четвертную под смех и хлопки и завистливые

бабьи взгляды, которые — хоть и опустила глаза — ловила свертывая рушник дрожащими руками, —

нечаянный гость, гордость и стыд. Растет трехцветная грудка на столе перед нанашами, и вот затихла свадьба, начался счет. Затаили дыхание по всему длинному столу ждут, когда будет сказано, сколько надали, сколько заработала нанашка для молодых на невестинном добре, но прослушал Фотограф сумму, не узнал четырехзначное число, —

у конца ковра, что был за спиной, у расшитой богатой стены — девочка десяти лет в сандалиях на босу ногу (круглое теплое плечо вплотную) в ветхом платье, с пустым обшарпанным кувшином. Кто-то послал ее за вином, беспутная мать пьяный пропащий отец из тех, кого уж не зовут на свадьбы, когда сыто и пьяно — не откажут, и стояла девочка по-видимости безучастная,

дожидаясь когда пойдет тяжелая гульба, но глазки (видел Фотограф) воровато бегали, она уж заметила, должно быть, к кому при случае подойти. Горячее мягкое бедро мелкие вороватые пальцы темные колени покачивание лодчонки, идущей поперек течения, глянцевая веточка здешней породы еще некорявая бледный побег едва намеченные почки сухой заплесневелый кувшин, кажущийся деревянным, как перезрелая дыня, какими полон сад. Хозяйка поднесла еще водки, что-то есть в ней от нанашки, когда танцевала свой смуглый танец, от чужого лица в наливающимся серым светом круге воды, от сада, в котором оранжевеют тыквы в потемках среди лопухов, над которым стоит седой под ветром тополь с выгнутой к югу высокой кроной (серебряное перо в чернильнице сада, долгая выдержка и при полной луне). Вот дошло дело и до шалаша, ибо модная музыка сменилась двумя скрипками бубном баяном, и хозяйка потянула Фотографа туда, где плясали бабы мужики вскидывали косолапя жилистые руки вились и жеманились девки пьяный щербатый парень расталкивая других щипал и хлопал одну по спине между лопаток (сумка с аппаратурой под лавкой). Схватились Фотограф с хозяйкой принялись перетаптываться вспомнил, как видел ее за смородинным кустом, это она срезала виноград, покрикивая на нерасторопных парней, она месила глину босыми ногами, напевая и подбадривая баб (недостроенный дом на краю деревни, бурая деревянная церковь) Последний раз воровка смеялась за его спиной там, где только что пиликала и звенела музыка, и он обернулся: хозяйка рассказывала о чем-то соседке, та прыскала, прикрывая красной ладонью золотой рот.

За шатром пьяно пели и взвизгивали, небо было темным, без звезд, воздух сыр и свеж, в шалаше мерцал огонь; легко было представить, как ходят легкие мазки пламени по корявому переплету с торчащими между веток соломинами, с дрожащим ивовым засохшим листом у самого конька. Горячие пальцы держали за руку, оскальзываясь, прижимался он к мягкой и теплой юбке, пальцы не держались на шелковом плече, вишневое дерево нависло темной грудой, в изломах его была нутга, как если бы в суставах отлагалась соль. Виделись с отчетливостью наросты, неровности, запах тления переполненного сада был сладок, сад — выпукл, грустно мерцал огонек на оплавленном огарке, пустившем непрозрачную слезу. Сквозил обобраный виноградник, придвинувшись к ветхой стене сырого дровяного сарая, сомкнулись ветви груш, пахло по-домашнему невыбитыми коврами остатками пищи от обеда, рос бурьян и мерцали как лужи сладкого молока забытые патиссоны. Стопа учебников с раскрашенными цветными карандашами крупными буквами на обложках, сношенные туфли с буграми на внутренней стороне у начала большого пальца, обертки дешевых конфет, сложенных для игры в фанты, изогнутое коромысло. Плетеная корзина перевернута, рана на боку (свежераздробленные прутья) салатова. На черной пластинке с красным кружком этикетки записан мужской голос (связка ключей в дорогом кожаном футляре и потушенная папироса того сорта, что Фотограф никогда не курил). Наконец, попала в кадр и оскальпированная кукла с круглой дыркой на месте прошловременной нейлоновой прически, с раскуроченным механизмом для открывания глаз и с целым —

для произнесения слова ва. В рост было не втиснуться, пришлось спуститься на корточки, подстил был влажным и теплым, запах мыла и чистого, но затхлого сыроватого белья, волосок и чужие губы, жесткие и сухие, леденцовая сладость на месте чужого языка. Первым, что увидел Фотограф, когда проснулся, был именно леденец, зеленоватый истаявший язычок с одной стороны прикушенный, в зазубринах, прилепившийся на краю тумбочки, наскоро склеивший столешницу и серую кружевную салфетку. И только потом: мокрый круг на досчатом крашеном полу, рядом кружок поменьше, фотография изможденного мужчины на стене (траурная рамка), вторая примятая подушка рядом, сумка с фотоаппаратурой возле двери у порога. Радио говорило, что дует с севера. Фотограф вышел во двор, посмутнело, хозяйка была у плетня, косынка на голове, низко повязанная, голубоватое ситцевое платье (для работ по двору). Фотограф встал рядом (так и есть документов не оказалось, отсиживалась себе без прописки). Двое милиционеров (у того, что младше, полы шинели коротки по коленям) вели воровку, но не посередине, по обочине. Она несла в руках чемодан, лицо незнакомое, серое, злое, немолодое, подол длинный, плащ реглан, фигура бесплечая, на ногах ботинки со шнуровкой, похожие на мужские и измазанные. Молодой курил папиросу и взглядывал за плетни, где виднелись лица, другой смотрел под ноги, сплевывал, лицо было мятое. Все трое свернули за угол к реке, и Фотограф, перейдя двор по диагонали, смог проводить их: ранняя река, клубящаяся паром, смутное поле, три фигуры — две мокросиние одна серая маленькая, — спуск затвора, перевод

кадра, вечное опасение не царапает ли рамка пленку внутри камеры. Левее — неровный край давно не чиненного плетня смутная вертикаль (изогнутый серый потек кроны тополя, как восковая слеза) три пятна фуражка на голове косынка другая фуражка чуть ближе и ниже: затвор, щелчок. Беседка вышитый рушник хозяйка улыбается, склонив голову набок не разнимая губ: снимок на память.

## ОБРАЗ ЖИЗНИ, МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК

Ряд понятных затруднений, —  
ясность изображения — небесспорное достоинство, простота хуже воровства, условны законы геометрической оптики, выбор кадра не поддается заведомому расчету, содержание — дань ленивому зрителю, правила композиции — лишь прием обучения, результат не соответствует замыслу, задача невыполнима, —

как в самом деле одними прямыми нарисовать местность и храм, как передать гласными и согласными музыкальную фразу и как остановить на пленке образ жизни, утекающий и скользящий.

Когда недостает средств, берут в долг — у воображения (есть ли оно у твоей камеры), но и оно — мелочный кредитор, строгий топограф, перед ним нужно отчитываться, ему должно от чего-то отталкиваться, привязаться к какой-нибудь точке во времени и в пространстве, что ж, начало координат есть — середина жизни (на время ты уже не так щедр, но до пространства по-прежнему жаден), отсюда видно и туда и сюда. Там, за призрачной датой твоего появления на свет, начинается история, сперва генеалогия, похожая на ветвистую молнию, потом самозванство, семь дней творения, тьма над бездною и геология; здесь тебя завтра не будет, второе пришествие, коммунизм, апокалипсис, космос, черная дыра, —

и ты со своею треногой, с глупым приспособлением для фиксации на светочувствительной эмульсии своих случайных впечатлений (и неспособностью к философии) — лишь мгновение, в шутку размазанное на

столько-то десятилетий и застрявшее между двумя географиями.

Итак, межсезонье; то ли ранняя оттепель, то ли поздние заморозки, нечто среднее между весной и осенью, между осенью и весной, так или иначе — подошвы скользят, подталый пирог на сырых деревянных перилах (примерзлые сухие листья вместо начинки), беспородный парк в нежданном снегу, и деревья голы, запущена старая усадьба, барский дом каменен, из окна флигеля вид на реку, на белую обшарпанную ротонду, чувство, что ты слишком легко одет и ушедшей молодости (как при любой нечаянной оккупации), сквозняки и печаль по дому, —

вот вам и пейзаж, сквозь него проступают черты женщины (ибо жизнь — предмет, несомненно, женского пола), женщины как сезон, как бессезонье, как ландшафт, как горы или как город, как пустые дубы на склонах весеннего армянского ущелья, как державный камень, мокнувший в воде фиорда на котором встала одна из грозных северных столиц, женщины как женщины.

Она — ветрена и болтлива и тебе не принадлежит. Твое чувство к ней летуче — как что? — как пыльца, как песчаный узор в дюнах, как сентябрьская паутина, —

летуче — как сентябрьская паутина:

это и желание ею обладать, и предчувствие разочарования, любование женским кокетством и боязнь отметить слишком явные несовершенства, это — флирт, это игра, это — случайное очарование. Коли так, придется поместить ее в самом центре, поселить в самом Центре, наречь ей имя как церкви, позаимствовав у топонимии Замоскворечья, посвятить ее Кадашам или Яу-



зе, Полянке или Ордынке, Первому Монетчикову, Климентовскому, имя-междометие, имя-цезура, дать ей голос, нет, голос не надо, ей нельзя двигаться, нельзя дышать, слишком велика экспозиция в полутьме, лучше прописать ее в полуобставленной комнате с видом на купол оставленного под складское помещение храма без креста (и некуда сесть вороне), подмешать ей в жилы какой-нибудь мусульманской крови, кавказской или татарской, наделить глазами с неуловимым выражением буддистского божка или китайского пикинеза, а там и окрестить, фамилию подобрать старинную, русскую, семинарскую и напоить до полпьяна. Наверное, так могла бы выглядеть твоя вдова. Теперь — заряжай пленку, вместо соития ограничься теплообменом (для чего достаточно взгляда из-под темных коротких ресниц и бледной, изображающей усталость и отражающей замедленный ток крови, улыбки); она, по-видимому, чья-то любовница, может быть — чужая жена, грезит родить щекастого малыша тому, кого подберет для этой цели (естественное стремление здоровых клеток к делению), все это, безусловно, скучновато и довольно досадно, но останется (и это уж забота фотографа) за краем рамки, не придвигайся к ней слишком близко, обладание не дозволено, возможно только касание, нечаянное пожатие пальцев, стеклянное соединение рюмок, теперь замри, ибо —

чересчур чувствительна пленка, ни шороха, ни вздоха, ни опускания глаз, вот и щелчок, моргнули лепестки объектива, произошло невероятное, то, что неуловимо, кажется, остается жить.

Ностальгическое ремесло, химерическое существо-

вание, в чем назначение этой жизни — только в ее образе (и в утилитарном смысле эта жизнь совершенно бесцельна); есть, конечно, и другая гипотеза, по которой смысл бытия — в его длительности, в протяженности здоровья и заботах о продолжении рода, но она представляется достаточно плоской, раз полагает сущность предмета в его же физическом свойстве, к тому ж — столь откровенно относительном; и здесь было бы к месту разобрать по квадратикам, разъять по молекулам образ твоей жизни, но самому тебе это не под силу, получилась бы невнятица: перемена мест, надежды на счастливую встречу, простые радости вполне метеорологического свойства, гул ресторанного зала, прихлебывание коньяка, болтовня, скука в поездах и дрема в самолетном кресле, блуждания по чужим городам и по незнакомым горам, вольная домашняя суета и покойное смирение выполнения урока, и еще что-то, чему ты не знаешь названия, похожего на ожидание свидания и страх небытия, на предутреннее сердцебиение и сладкую горечь обиды, на трепет перед тайной, наконец, и на заботу нечаянно ее не отгадать, —

отгадать, как вот эту женщину между Востоком и Западом, черты которой просвечивают в задуманной композиции. А ведь это не представляет труда. Результат будет схож с поездкой в ненужные гости, с утренним походом за кефиром: черты ее лица тут же расплывутся, пикинет зевнет и прикроет глаза, свернется мусульманская кровь, опошлится славянское имя, таинственный божок предстанет дешевой безделушкой,— ее пальцы холодны и влажны (гипотония, должно быть), ноги некрасивы (чересчур толсты), зад низковат, волосы негус-

ты, не мыта на кухне посуда, стоптаны домашние тапочки, пустовата комната, и шерстит чужое одеяло; нет, она найдена тобой для другого, призвана для иного — помочь нарушить прерывистость бытия, забыть о разъятости мира, заставить попасть в сосуд подряд хоть несколько капель, замедлить бег песчинок, остановить хоть ненадолго неотвратимое таянье льдинки в теплой воде и почувствовать на лице озноб и жар от тайного дыхания (только взгляд на икону невзначай при беглом свете свеч, только пригрезившийся во сне самый невозможный кадр заставляет подчас так биться сердце), —

это дыхание темного, дальнего, вечного...

Фотографирование — занятие меланхолическое, оно обращено на развалины настоящего, элегически влюблено в руины того, что совсем недавно обещало стать будущим (загляните-ка в свой фотоальбом); вот и этот снимок, сколь ты ни тужься, запечатлеет лишь нечто между расписанием усвоенных уроков и распорядком грядущих похорон. Пожалуй, на этом месте должен бы стоять дом. Не казенная комната (хоть и с ковром) в давным-давно национализированной усадьбе посреди беспородного парка, что некогда построил на краю нынешней Москвы Воронихин (тот самый, кто придумал Казанский собор, тоже ведь оказавшийся не вечным), не старинная столица, что держится на плаву всеми своими мостами, не коттедж с камином в далеких горах (есть биде, но нет воды), не стокгольмский шератон, в коридорах которого не услышишь ничьих шагов, не купе поезда, из окна которого ночью ты вдруг увидишь светящийся и плывущий, растущий и парящий Кельн-

ский собор, и не хороший автомобиль, наконец, в котором по бельгийскому бану ты приедешь в город Брюгге, о каналах которого патриоты думают, что они после очистки не пахнут, и воздух которого ты уж никогда не забудешь, —

дом, по которому скучают в пору нежданно повалившего снега, худой одежки и потерянной молодости, дом, в котором лелеют некий домашний союз; если он счастлив, то это — мысли во сне о другом, соединение как дыхание, лесь и ирония пополам, набор ритуалов, компромисс между детством и зрелостью (никогда не понять, кто кому дочь или сын, мать, отец, любовник или подруга), немучительная расплывчатость признаний, гербарий благих обещаний, возможность поймать вылетевшее слово, интимные амулеты, общая любовная легенда, кое-как утаенные некогда грехи и возможность болеть по уговору — сегодня ты, завтра я. Но ты выбрал другое, Фотограф, вот твой образ жизни: глотай сиропную хину сиротства, пей пронзительный неуют знакомых издавна улиц; этот квадратный километр пронизан токами незаживающего детства, как и вся твоя жизнь пряна возбуждающим неустройством пополам с обманной устроенной прочностью; здесь, в середине, рвутся многие связи, на глазах умирают телефонные номера, новые не вырастают, и ящерица бегаёт без хвоста; где родной угол, в котором ты всегда был чужаком; а ты давно не равен сам себе — рябь времени, наложение будущего и прошедшего, здесь ты уже стар, там ты еще юн. Середина жизни, поэтому ты и пришел к этой женщине, чье лицо просвечивает сквозь изображение, куда ни наведи камеру; поэтому ты и поселил ее

здесь, и она теперь — как сувенирный колокольчик из забытой заграничной поездки, как отзвук синонимической элегической пушкинской рифмы, как горечь милосердия, как награда за грех, покаяние и обет.

Итак, промежуточность между двумя географиями: ежедневный утренний ритуал еще не тяготит, смена времен года по-прежнему волнует; шарик все еще бежит по кругу, пущенный уверенной рукой, еще рябят фишки на зеленом разграфленном сукне, еще не вытолкнута в щель твоя неразменная банкнота,—

и новое случайное чувство представляется неизбежным. Замоскворечье — место свидания, — здесь некогда проходила дорога из Кремля в Орду (потом ее обставили византийскими храмами); время столкновения осени и весны, но — оплодотворение невозможно, разрешено лишь касание, и набухает капля под носом простуженного крана; острие иглы воткнуто между двумя великими континентами; равновесие неустойчиво, кратка тишина между проворным скоком часов, между двумя ударами хрупкой мышцы, нагнетающей кровь в эту вот жилку на виске; и слеза готова оборваться и покатиться по щеке.

Главы из романа  
«Дорога в Рим» (1995)

## ГУЛЯ

Трудно было найти что-нибудь грязнее этого уличного кота — я не говорю о человекообразных обывателях — в том северокавказском городишке, и именно его-то она и подхватила на руки, прижав к своему светлому платью. Мы приехали искать клад. Много золота, бриллиантов, старинных украшений, которые ее бабка впопыхах запихала в нишу кирпичного борова печной трубы, прежде чем отплыть в Константинополь. Три дня жили в мотеле при дороге из аэропорта в центр, шлялись по опасным грязным кабакам, два раза были в Церкви, где она ставила свечи, молилась неизвестно за кого и неумело, она была атеисткой; сейчас она прижимала к груди это отродье со спутанной шерстью в парше, с отчетливым запахом гнилой рыбы от пасти, В нищенском трущобном полусвете я видел, что по ее щекам стекают слезы.

Плакала она и в церкви; и когда мы впервые вышли к разлапистому одноэтажному красного кирпича особняку, отданному советской властью под больницу, кажется, МПС; и даже когда я воспротивился стоять в длиннющей пахнувшей женским потом и кишевшей чумазыми детьми очереди за мороженым, — доказывала мне, что ей как раз необходимо выстоять эту очередь на жаре со всеми людьми. Позже, узнав ее ближе, я стал догадываться, что во всем этом — чем сентиментальной ностальгии — было больше социального самоуничижения.

До сих пор удивляюсь, как нас там не зарезали. Она была вполне жертва и притягивала уличных маргиналов

— высокая чуть сутулая блондинка с бюстом и ногами фотомодели, растерянная иностранка, раздающая деньги нищим, с заискивающей готовностью одевающая дорогими заграничными сигаретами черных с рыжиной фиксатых парней с угрюмыми прыщеватыми лицами, сующая жвачку детям цыганок, торговавших у вокзала губной помадой; к тому ж — с глазами всегда на мокром месте. Последнее обстоятельство, впрочем, я тогда относил не столько за счет умиления от встречи с пенами и ларами, сколько списывал на то, что трезвы мы, конечно, не бывали. Вряд ли она привыкла у себя во Франции к таким количествам крепкого дурного качества алкоголя, но водка была необходима при здешней пище, к тому ж вино здесь отдавало уксусом, шампанское было теплым и сладким, пахло дрожжами. Крэга, к счастью, у нее с собой не было, пакетик марихуаны, прихваченный из Парижа, ее более опытная подруга заставила выбросить в сортир в самолете, а я грудью встал против ее поползновений приобрести дури у здешней шпаны, — я боялся подставы, после чего местной конторе ничего не стоило бы продержать ее с месячишко в кутузке перед высылкой из страны; о собственной судьбе в этом случае я не говорю. Однако, предполагая некоторые особенности ее характера, подобную перспективу я не стал описывать: помани я ее столь блестящими, айседор-дункановскими возможностями, она рванула бы за своим киф'ом, и никто бы ее не удержал. Так что я лишь врал, что здесь нас непременно кинут, всучат фуфло и бодягу, но когда мы доберемся до Москвы — я добуду ей дряни и дури сколько душе угодно.



Знакомы мы были всего неделю. Впрочем, она была мне признательна, что я вызвался сопровождать ее на Кавказ, чем загорать в Ялте, а само это приключение нас сблизило: что и говорить, она оказалась хорошим и благодарным товарищем для любой авантюры, да и ей лучшего, чем я, искать было не нужно. Познакомились мы так: мой коллега Дима С., пребывавший в долгом потенциально матримониальном романе с парижанкой русского происхождения, узнал, что его возможная невеста в очередной раз прибывает в СССР по туру Ялта-Москва, но не одна, а в компании двух подруг; зная ее нрав и будучи наслышан о подругах, приятель справедливо рассудил, что одному такую ситуацию ему решительно не потянуть; и предложил мне помочь выкрутиться. Я, конечно, откликнулся с готовностью — о чем разговор! — хоть, сказать по правде, в том июне в Москве мне тоже было чем заняться: как раз тогда у меня была бурная связь с одной балериной — хорошей наружности и необычных эротических достоинств, так что я забыл взять вовремя билет до Симферополя, вспомнил про уговор в последний момент, примчался в аэропорт ночью, затесался на предутренний рейс, но, добравшись до Алушты, имел еще время сесть на катер, выпить в буфете массандровской мадеры и подремать на палубе — до самой ялтинской набережной. Ибо договор был таков: Дима встречается с девочками самостоятельно, а мы с ним — в полдень в кафе на веранде гостиницы Ореанда. Я причалил как раз вовремя, но в кафе никого не было, и официант подал мне записку с координатами отеля Ялта. Через полчаса я был там и попытался разобраться в диспозиции: мой приятель —

он был годами пятью меня старше, две очаровательные парижские дамы его лет, — одна белокурая и плотная, с сильными конечностями и решительным видом, невеста; другая — долговязая, с невероятной длины красивыми ногами, с низкой челкой, тоже белесой, и с расфокусированными огромными ярко-синими глазами; наконец, маленькая и беременная их подруга — из бывших советских, нынче состоявшая во втором браке не за французом, но за американцем, впрочем, беременная лишь слегка, месяце на пятом, — Ольга, Гуля и Ритуля. Невеста приняла меня благосклонно, бывшая соотечественница — радушно, в то время как третья — достаточно агрессивна, что и подсказало мне, что эта, по-видимому, — моя, хоть никакого предварительного сговора на сей счет, конечно, не было. Я ее понимал, в ее положении нужно было первым делом выставить форпосты, чтоб спокойно оглядеться. А ну как я оказался бы туповатым занудой, принялся бы предъявлять несуществующие права и покушаться на возможности случайных неведомых приключений, чем испортил бы очарование путешествия. Она была в Союзе впервые; должно быть, он представлялся ей чем-то вроде приполярной Кубы, где некогда, как ни странно, жили ее предки; Боже, как много здесь должно было быть хороших возможностей: подцепить, скажем, вождя татарского племени, оперуполномоченного, по совместительству, ГПУ, или совратить не парижского, но настоящего православного батюшку с бородой по кушак, или на худой конец проникнуть в притон, скрытый под вывеской школы партхозактива, где под психоделические звуки балалайки курить травку и петь хором цитаты из

Маркса—Ленина... Она носила звучную польско-русскую фамилию, она прозывалась милым домашним именем, какие давали детям в дореволюционных, а потом эмигрантских дворянских семьях, но, как ни крути, она была дитя парижского мая шестьдесят восьмого года.

Впрочем, ничто не могло помешать нам тут же распить пару шампанского — за знакомство, после чего они отправились гулять по городу, — устраиваться, потому что расположиться у них никто, разумеется, не предложил.

Мне удалось найти лишь кровать, и ту не в помещении, но под навесом в саду — недалеко от отеля. Потом я поскакал на пляж, где тут же сдружился с миленькой простоватой юной дамочкой, оказавшейся, что неудивительно, когда живешь от рифмы к рифме, тоже танцоркой — из провинциального ансамбля народного танца. С ней мы еще выпили, погуляли по парку, пообщались в тени акаций и обо всем сговорились; правда, мне вечером предстоял поход в ресторан с диминой тургруппой, но у меня были основания предполагать, что, возможно, уже сегодня я окажусь лишним. Ничуть не бывало: подстраховка не пригодилась, места были заказаны, уклониться было нельзя. Когда вечером такси увозило нас от отеля, на дорожке к нему появилась танцовщица с загорелыми, чуть перекачанными икрами, в фольклорном платье, спешившая ко мне на свидание; я проводил ее взглядом с сожалением.

Мы попали на веранду с отвратительным варьете и еще худшей пищей. За столом ничего не клеилось: Дима с Ольгой собачились — может быть, из-за меня; мы с

Гулей смотрели в разные стороны; одна Ритуля была в своей тарелке, кажется, ей было хорошо со своим плодом тет-а-тет. Единственный раз мы с Гулей танцевали, и я положил ладонь на ее высокую грудь; она отбросила мою руку и проговорила с отвращением: совсем как француз; она была разочарована, но я не знал тогда — относится это к приемам французского флирта или к неуместному их применению; позже выяснилось, что — первое, но не в тот вечер. В конце концов я отправился на свою садовую койку, где и заснул — впервые за много дней — одиноко и безмятежно. Но вставать пришлось рано: часов в шесть со стороны хозяйского дома мимо моего убежища побежало переполошенное стадо заспанных полуголых квартирантов, к которому был вынужден присоединиться и я, — шла милицейская облава с целью выявления непрописанных...

В тот же день все наладилось, впрочем. Гуля, должно быть, разобралась в обстоятельствах и убедилась с сожалением, что здешние нравы вряд ли более дики, чем, скажем, в Марселе, хоть и была до крайности фраппирована тем, что советская Россия так неуместно вестернизирована. Делать ей было нечего, диссидирующие литераторы, прячущиеся по номерам ее и ее подруги на манер латиноамериканских партизан, — было самое прямое, на что здесь приходилось рассчитывать. К тому ж, мы с Димой носили бороды, причем у него она была точь-в-точь, как у Че Гевары. Мы пообедали в загородном ресторане, мы взяли десерт в той же Ореанде, мы славно отужинали в номере, нагрузившись неплохим вином, что прихватили на рынке вместе с фруктами, мы с Гулей оказались в постели, где и заня-

лись приморской любовью — без изысков и причуд, на манер прибоя, причем, кажется, остались довольны друг другом. Мне во всяком случае понравилось ее долгое тело, ее нежный лепет, и то, что она кончала раз за разом, без остановки, от одного, кажется, моего прикосновения — революционерка-то революционерка, но устроена она оказалась весьма консервативно, и возбуждение у нее было самое обыкновенное, клиторно-вагинальное.

Наутро я знал, что счастлив — так нравился мне этот адвенчур. Мне пришлось по вкусу изображать богатого фарцовщика: крутиться среди иностранцев, купаться в бассейне с баром, спускаться на пляж, наглухо отгороженный от внешнего советского мира, в скором лифте, а также играть с невиданными мною до той поры игральными автоматами, что стояли на каждом этаже в боковом холле; среди них я выбрал один, имитирующий охоту; я потратил уйму пятнадцатикопеечных монет, прежде чем наловчился попадать в цель, а не в охотника, который то и дело летел у меня вверх тормашками.

Наши девушки представили нас и другим участникам тура. Это были преимущественно старушки, понятия не имевшие о России, хоть тур и был организован обществом русско-французской дружбы. Среди них мне приглянулась одна, с пугливой увядшей красотой и стройненькая, с морщинами на руках и шее, грациозно державшая аккуратную головку и с боязливым кокетством поглядывавшая по сторонам. В ней привлекало нежелание сдаваться и то, что она была именно француженка, несомненная француженка без всяких там русских корней. Я украдкой подмигнул ей, после чего то и

дело ловил то сям, то там, в холле, в буфете, на пляже, ее восхищенные и застенчивые улыбки.

Пожалуй, никогда прежде, до тех ялтинских дней, я не чувствовал себя так вольно и бестревожно; это неведомое доселе чувство покоилось на некоторой сумме денег, как раз тогда полученной в счет гонорара за первую книжку, и на доступности вполне естественных радостей. Невиданных радостей, как то: завтрак за шведским столом, сидение в чистом баре, где не воняло прогорклым маслом, с газетой и утренней чашкой кофе, вежливость obsługi, исправность сантехники, возможность выпить рюмку или холодного лимонада уже через секунду после того, как ты этого захотел, вдыхание не запаха чужих толстых тел, но то и дело струящегося сквознячка заморских духов, сбыточность, наконец, во всякую минуту принять душ и сказать горничной постирать твою потную рубашку. В какие-то мгновения мне представлялось, что я нахожусь не в советском прибрежном отеле — пусть таких было только два в те годы в Союзе, — но действительно за границей, где люди всегда чисты и хорошо пахнут, по утрам пьют ледяное шампанское на балконе с видом на море и горы, сиесту проводят в объятиях друг друга, а потом играют с игральным автоматом — прежде чем отправиться в варьете. Да и сам я себя чувствовал другим, не парижанином, конечно, но и никак не жителем советского мира, и это тем более удивительно, что такое полное забвение реальности бывает, наверное, только при шоковой амнезии. Ведь это благоденствие было абсолютно эфемерно, — мигни швейцар одному из мальчиков в штатском, что вечно торчали в вестибюле, поглядывая во-

круг птичьим глазком, и конец недолгому счастью; но мы вспоминали о висящей над нами угрозе не чаще, чем помышляет о смерти скалолаз или автогонщик; мы лишь почти рефлекторно принимали необходимые меры предосторожности, сводившиеся к мимикрии с помощью иностранных тряпок и фотоаппаратов на шеях, да еще постоянно глупо-оживленного выражения лиц, экскурсантики-заинтересованного и вместе как бы не от мира сего; вот только нельзя было ни с кем встречаться взглядом, ибо глаза наши — глаза всегда оставались настороженно советскими.

Мы, можно сказать, были в роли. Мы строили из себя европейчиков в этой стране, пережившей тогда конец эпохи дилетантского тиранства, эпохи, оборвавшейся с началом афганской войны, — времени судорожного карнавала, ожиданий перемен и предчувствий потрясений. В тот год, помнится, в определенном кругу было шиком опохмеляться голландским яичным Боллс, петь Мурку в переводе на английский, носить марлевые индийские рубахи — по прошлогодней парижской моде, и готовиться сваливать: то ли хлопотным путем — брака, то ли менее верным, но более прямым — по израильской визе. Хмель отъезда дурманил, без преувеличения, все подряд головы, отнюдь не только молодые; тон задавала, конечно, творческая интеллигенция послевоенных поколений, исключая официоз, но кто тогда причислял официоз — к интеллигенции? В этом поголовном отвальном, движении были свои лидеры, свое болото и аутсайдеры, но энергия исхода была такова, что и последние неведомо для самих себя как оказывались выплеснуты с родины и унесены далеко за

океан. Сегодня уже нашлись этнографы, описавшие ритуалы жизни поздних семидесятых, когда обряды свадеб и похорон отодвинул один-единственный — проводов, праздник рыданий остающейся родни, последних судорожных адюльтеров в ванной, аукционов не принятых на таможне вещей и радостных прощаний с друзьями невесты на какой срок до встречи неведомо где. Мы жили тогда одним веселым табором, так славно не походившим на повседневное унылое бытие: никто больше не делал «карьеры, никого не подсиживал и даже не ревновал; не было места тревогам о школьных успехах детей или волнений по поводу улучшения жилищных условий; собственно, даже заботы о хлебе насущном отошли на задний план — ведь в каждой семье было что промотать, и сама эта распродажа делала невозможным отступление; тут еще чуть не каждому перепали посылки от неведомых еврейских организаций, уродливые женские ботфорты или невозможные кацавейки на рыбьем меху, но на такие сапоги и шубу можно было жить безбедных полгода; да и жизнь была тогда баснословно дешевой, и мы катали по три раза в году на море, мотались между двумя столицами, а не в сезон — пропадали в гостях друг у друга, и даже вполне серьезные люди поддавались этому общему поветрию легкомысленной безответственности. Кое-что мог бы объяснить интеллигентский фольклор тех лет, будь он вовремя собран, былички ветеранов отказа и цитаты из писем уехавших, но пуще другого — туземная космогония советской поры, в которой здешнему царству Софьи Власьевны и Галины Борисовны, коммуны и гегемонов, противопоставлялось западное полушарие свободы и чу-



десного исполнения желаний; это кажется чудовищным, но самые умные и ироничные могли всерьез утверждать, объясняя, почему надо ехать, что прилично-му человеку вторую половину жизни пристало провести на собственной вилле о верандой на атлантический ли восход, на тихо-океанский ли закат. Впрочем, независимо от ума и образования, возраста и положения, большинство из нас, тогдашних, оставались Митрофанушками, эгоцентричными и капризными. Мы ощущали себя — в центре мира, полагали, что коммуныки нас несправедливо обидели, хоть и затруднились бы сказать — чем именно, и уповали, что впереди, на Западе, нам светит компенсация, своего рода извинения судьбы и одни яркие игрушки. Мы с легкостью заглатывали наживку, читая в советских газетах о полнейшем нашем превосходстве — ведь про высоты русского духа мы знали еще от Достоевского, но с негодованием отвергали все, что бросало тень на нашу мечту, и у скольких же советских эмигрантов екало потом сердечко при виде отеля для беженцев в Вене, свалки где-нибудь в Остии или бездомного, спящего на решетке сабвея. Это и потому еще удивительно, что в нашем кругу толклись тогда с утра до вечера иностранцы — стажеры, славистики, переводчики, а то и бизнесмены, и корреспонденты, и атташе по культуре, но никто никого не пытался переубеждать: так детям не говорят всей правды, считая, что коли повзрослеют, то сами поймут. А мы в свою очередь, чем задавать вопросы и пытаться хоть что-нибудь понять, использовали их лишь как источник хорошей выпивки, или на манер почтовых голубей, или как агентов по передвижению через границу нехитрой движи-

мости, чувствуя к тому же свое превосходство, ведь мы, советские — и они это охотно подтверждали — располагали уникальным опытом жизни в тоталитарном ярме и постоянного отстаивания внутренней духовной свободы. К слову, большинство людей Запада в России не только потакали нашим слабостям и комплексам, но и своим собственным: у себя дома они сплошь и рядом отнюдь не были столь значительны и богаты, какими позволяли себя числить русским, а проверка, если и могла состояться, то в очень туманном будущем.

Но — и это самое забавное — едва смолкала речь и вступал в права язык жеста и пластики, как нас охватывала робость, переходившая подчас в легкую панику, столь различно оказывалось наше бытовое поведение. Это был тот плацдарм, где краснбайство попросту неуместно, и единственное наше оружие падало из рук.

Оказывалось, что мы не умеем сидеть, ходить, есть, пить, останавливать такси, пользоваться носовым платком, носить вещи, снимать трубку телефона, прикуривать сигарету и тушить ее в пепельнице — не умеем так, как умеют они. В каких-то ситуациях это бывало столь очевидно, что по нашим спинам полз холодок, как у эмигранта, обнаружившего по приезде в Америку, что много лет его учили не тому языку. Поэтому-то мы, русские обольстители, поговорив с иностранкой под водку о вечности и литературе, торопились тащить ее в постель — они это принимали за очаровательный распутинский темперамент, — нам при свете и вне разглагольствований попросту было некуда девать руки. А паразык соития у белых людей повсюду один и тот же.

Но одно все-таки дело дискуссии и коитуса время от

времени, другое — круглосуточное существование друг у друга на глазах, — не могли же мы с Димой только и делать, что дебатировать о Сартре и совокупляться с нашими парижанками. Поэтому именно в промежутках, потребных на питье, еду и туалет, и проявлялась вся разница наших привычек: можно сойтись на любви к Тютчеву и Лотреамону, но все равно многое вылезет наружу при чистке зубов или стирке грязных трусов. В этом смысле не могло быть ничего более поучительного, чем сосуществование двух советских мужчин с тремя парижскими красотками в течение недели в двух двухместных номерах на пятерых.

Скажем, не без робости я заметил впервые, что после того, как они примут ванну, они оставляют использованные полотенца прямо на полу ванной комнаты. Размышляя об этом, я пришел к мысли, что нам, русским, вообще претит какая-либо одноразовость; ведь у нас повторно идет в ход все что угодно — от пластиковых пакетов до презервативов — и это, понятно, из бедности; но отчего в стране, где нет недостатка во времени и в топливе, даже суп варят на четыре дня, мотивируя это к тому же предрассудком, будто на третий день суп делается только вкуснее и настаивается? Примерно также же недоумение вызывало то, что они каждый день мыли голову шампунем, как мы — руки мылом, ведь нам не уставали повторять, что слишком частое мытье головы вредит корням., н е. — ужели и это золотое правило возникло из вытесненных соображений экономии моющих средств? Но больше всего задевала в них, вызывая наше затаенное и ревнивое восхищение, недоступная ежесекундная свобода самых обы-

денных действий, до которых, однако, нам было, казалось, ни за что не додуматься. Скажем, Дима, посвятивший, по его рассказам, в юности много времени, подражая походке и манере держать руки Юла Бриннера, поделился со мной в восхищении, что однажды Ольга, когда он лежал в ванне, заглянула к нему и зачерпнула из ванны заварочным чайником воды сполоснуть: забавно, но этот вполне цыганский жест показался нам обоим верхом изящества и раскрепощенности. Подобные пустяки пронзали нас тогда острым чувством собственной неуклюжести. Конечно, при нашем нахальстве это были лишь краткие уколы, которые мы тут же скрывали за привычной бесшабашностью, но они-то и заставляли нас пристально наблюдать за подружками исподволь, — и пытаться учиться.

Конечно, напрямую подражать им было никак невозможно, так легко было тут же попасть впросак. Впрочем, и не подражая им вовсе, но лишь пытаюсь угадать общую колею и идти за ними след в след, я, скажем, то и дело оступался. В сожитии нашем сразу же обнаружились ничем не прикрытые два тонких места: отношение к деньгам и отношение к телу, и можно сказать, что здесь прослеживалась некая обратно пропорциональная связь. Российское вполне беззастенчивое отношение к деньгам — своим и чужим — как бы уравновешивалось в нас стыдливостью в телесной сфере, в то время как они в финансовых вопросах — прежде всего, между собой — были как раз щепетильны, что не мешало им, впрочем, бывать подчас широкими, тогда как в отношении тела, напротив, были весьма щедры, проявляя, однако, и здесь вдруг нежданную деликат-

ность. Поэтому, живя с ними, мы пуще всего старались упрятать поглубже наше русское ханжество и обуздать финансовую безалаберность, а значит проявляли распущенность тогда, когда следовало бы остановиться, и становились не к месту жеманными, когда следовало с благодарностью брать. В этом и есть разница культур — незнание нюансов.

Помню, все трое загорали на балконе всегда без лифчиков, вовсе нас не стесняясь; на пляже Ритуля попросила меня как-то намазать ее спину и ноги маслом для загара, и я старательно мазал, а Гуля в это время болтала с ней как ни в чем не бывало, хоть спал я именно с ней, а не с Ритулей; однако, когда как-то раз после обеда Ритуля уселась ко мне на колени в одном тоненьком бикини, и, не удержавшись, я погладил ее ляжки, то, когда она встала за сигареткой, сидевшая в кресле Гуля протянула свою длинную руку, взяла со стола тяжеленную пепельницу и швырнула ее в Ритулю с такой силой, что пепельница, вылетев в открытую по счастью балконную дверь, должно быть, вышла на орбиту. При этом никто из нас троих не произнес ни слова.

В другой раз в тот же дневной час мы расположились с Гулей отдохнуть на кровати. Дима и Ольга были на балконе того же номера — к Ритуле из Москвы прилетела мама, крашенная перекисью водорода кадушечка-еврейка, то и дело давящаяся рыданиями от перманентного умиления заграничностью дочери, на самом деле зорко следящая, чтоб ни тряпочки, ни кусочка французского мыла не проплыло мимо ее рук, — Ритуля ее стыдилась и держала в другом номере взаперти. Разморенная после солнца и пляжа, Гуля хотела, чтоб я

вошел в нее; полагая, что у этих детей цветов и эмансипанток принято, раз они ходят голыми перед нами, и совокупляться, не смущаясь друзей, я принялся за работу, перебарывая неловкость, старясь показать, что и для меня это естественно как дыхание; услышав гулины стоны, Ольга просунула в балконную дверь патлатую голову — она как раз расчесывала и сушила волосы — и осведомилась ледяным тоном, обращая ко мне: я тебе не мешаю?.. Боже, как это было давно, каким нынче представляется наивным и милым, и кажется — было совсем недавно...

Сразу скажу — клад мы так и не нашли. И кота Гуле пришлось отпустить, причем животное — видимо, улица развращает не только людей — преследовало нас не один квартал, скользя по стенам темных домов от угла к углу, тенью промелькивая под редкими фонарями, дергая хвостом и злобно мяуча, требуя, вероятно, жрать, как это делают некоторые бродяги в сознании полного своего права. Кот, очевидно, был физиономистом: Гуля непременно заволокла бы его в наш номер в мотеле и кормила бы отварной осетриной и белужьим боком из ресторана, но на кошачье несчастье ранним утром у нас был самолет — в Москву.

В особняке гулиной бабки мы все же побывали. Мне вовремя пришло в голову, что Гуля — она была врач — должна представиться персоналу и сказать, что интересуется медицинским обслуживанием железнодорожников; а чтобы больничная публика не пришла в ужас от несанкционированного визита иностранки, мне пришлось прикинуться сопровождающим от Интуриста. Впрочем, к нашему появлению в больнице отнеслись

вполне равнодушно; дали белые халаты, провели по палатам, где было на удивление чисто; был час обеда, ходячие больные в серых робах, сшитых на манер пижам, тянулись каждый со своей миской, кружкой и ложкой в столовую; нас пустили и туда, больничная еда на вид была съедобна, но Гуля ухитрилась и тут едва не расплакаться — больница напоминала ей застенки, как она объяснила мне позже. Увы, мне не стукнуло в голову представиться пожарным инспектором — неясно, правда, кого изображала бы Гуля, — и до печной трубы на чердаке нам было решительно не добраться. — Бабушка бы этого не унесла, — шепнула мне Гуля, хоть бабушка и без того несколько лет как скончалась; интерьер, действительно, ничем не сигнализировал, что здесь был когда-то богатый барский дом; и печи наверняка не раз перекладывали; так что я объяснил потом Гуле, что ее фамильные драгоценности во всей видимости были использованы на нужды фронта и послевоенное строительство социализма, хоть понимал, конечно, что скорее всего они пошли в чью-нибудь коллекцию или истрачены на сафари; но я рассчитал верно — ее эти объяснения отчасти утешили, — она ведь была левой, поклонницей Троцкого, Мао Цзедуна и Энвера Ходжи; вряд ли она читала их труды, но ей импонировала идея всеобщего равенства, перманентной борьбы, тотальной свободы и социальной справедливости, которые удовлетворяли потребностям ее революционно-мазохизма. Я не раз зарекался говорить с ней о политике и не раз забывал свой зарок; я приходил в ужас от ее прокоммунистических симпатий, она же соглашалась лишь, что Марше — мясник и старая свинья, но восхи-

щалась левым императором Бокассо, который бил французского посланника туплей по голове; тогда еще не было известно, что он к тому же — каннибал, но может быть, если бы он ел лишь французских банкиров, это придало бы ему еще больший вес в ее глазах. На самом деле — мне не стоило горячиться; я должен был объяснить ей, что для советской молодежи семидесятых любая левая идея была тем же, чем для нее — программа партии Ле Пена; впрочем, тогда мне было неясно самому, что она была там тем же, чем я — здесь, и мы оба были жертвами расхожего нонконформизма: я возмущался поруганием светлой идеи западной демократии, она утверждала, что, не будь советские оппортунистами, они давно бы построили справедливое общество, как Фидель на своем отдельно взятом острове; я ненавидел большевиков со всей страстью человека, вчера ночью дочитавшего Архипелаг ГУЛАГ, ее же воротило от богатого Запада — двоедушного, эгоистичного, буржуазного и катящегося в пропасть. Впрочем, когда мы летели в самолете, она поглядывала на меня почти жалобно своими синими близорукими глазами. Теперь я понимаю, что она чувствовала. Пока мы жили в ялтинском отеле, она, конечно, испытывала смесь разочарования и жалости от интуристовских потуг дотянуться до западного захолустья, но когда мы посетили городок, в котором, к тому же, некогда жила семья ее матери, к этим чувствам должна была прибавиться некая брезгливая мука; конечно же, она видела нищету — в Индии или Бразилии, но то была живописная нищета, почти театральная на фоне чужого богатства, роскоши природы или красоты храмов; здесь же она окунулась в море



специфически-советского убожества, не ведающего ничего, кроме себя самого, а потому неискоренимого; именно эта безысходная самодостаточность серости угнетает в русской провинции, растекающаяся во все стороны слабосильная глупость, неряшливость и небрежливость, помноженные на затаенную животную злобность; как здесь не чувствовать себя облапошенной, дура душой, как не сделаться почти больной, и в Гуле были на лицо симптомы этой болезни...

Впрочем, Москва встретила нас новой фиестой. Я плохо помню эти четыре дня перед их отъездом. Тур поселили в Центральной, которая, словно для того, чтобы скрасить свою облупленность, отличалась просто устрашающим режимом, нечего было и думать ночевать там в чужом номере. Впрочем, в этом и не было необходимости: круглосуточная гульба шла в огромной мастерской одного стареющего либертена, художника, старьевщика и коллекционера, заставлявшего пожилого спаниеля Мишу вылизывать промежности своим девочкам; спаниель, однако, принадлежал не ему, но его сожительнице и содержанке, давней подруге Димы, на которую тот и сбросил с удовольствием, иссякнув, всю компанию, — парижская невеста Ольга и впрямь требовала расхода многого мужества, фантазии и душевной стойкости, — эта дама и стала распорядительницей карнавала, поскольку сам хозяин тогда был в отъезде.

Звали ее кто как — Галюша, Галчонок, Галка, только не Галина, была она очаровательной тридцатилетней женщиной со смеющимися карими беспутными глазами и телом рубенсовской вакханки — с широкими бедрами, крупными ляжками и грудями, узенькой талией,

маленькими цепкими ручками, маленькими ножками, с барочным ротиком — малиновой трубочкой, с вечной усмешечкой на припухлых губах. Она носила только русские сарафаны, — по летнему времени на голое тело, так они открывали роскошь ее шеи и плеч, — и была настоящим исчадьем мастерских, каковых сменила немало со своих семнадцати лет, когда убежала из дома, влюбившись без памяти в одного посредственного скульптора лет на двадцать старше себя, который потом покинул ее в связи с убытием на историческую родину, в отличие от моей жены, с которой у нас на июль был назначен развод, не только папа, но и — беллетристический случай — мама у нее была генерал. Едва мы всей компанией завалились в эту мастерскую, положение мое усложнилось, поскольку с этим самым Галчонком у меня тут же завязался роман.

Что ж, Гуля через три дня уедет, и вряд ли мы с ней свидимся когда-нибудь. Я не чувствовал себя чем-либо связанным, к тому ж знал, что оставаться одному после слишком долгого праздника — значит стать более одиноким, чем ты есть, может быть, на самом деле. Почему-то всплывает в памяти сцена: шум, тарарам, льется рекой алкоголь, мы танцуем с хозяйкой, ее полные обнаженные руки лежат на моей шее, а пальцы щекочат затылок, мимо плывут стены, увешенные расписанными под лубок деревянными кухонными досками, на каких режут салаты, какая-то медная деревенская посуда, между лаптей и прялок мелькает нечто, напоминающее малых голландцев, и, кажется, ранний Куперман, тут я вижу Гулю — она сидит одна в углу дивана, показывает свои невероятные ноги, курит, смотрит прямо перед со-

бой взглядом, который из-за близорукости не может ухватить мелкие детали.

Или вот еще: в один из дней мы оказались с Гулей в сумерках на Арбатской площади. Я хорошо запомнил, что именно на Арбатской, потому что и сейчас вижу ее долговязую фигуру на ступенях старого метро. Я чувствовал ту измученность, когда тебе приходится чересчур долго водить хоровод с какими-нибудь иногородними гостями; нет, я не мог бы сказать, что она мне надоела, хоть, признаться, мне несколько приелся наш механический, как швейная машинка, секс; просто меня утомила сама обязанность круглосуточного совместного времяпрепровождения, в которую, вообще говоря, я впрягся по собственной воле; к тому ж, при том, что мы достаточно коротко сошлись, я не мог до конца освободиться от некоторой скованности с нею, ее иностранность, как ни крути, придавала даже нашему интимному общению привкус — как бы это сказать — некоторой официальности. Короче, мне осточертел протокол, мне нужно было расслабиться, я не чаял, когда она отправится в гостиницу, а я смогу рвануть в мастерскую к Галчонку, которая умела так лукаво предупреждать мужские прихоти, что общение с ней не требовало никакого напряжения: там я получил бы и душ, и крепкий чай, и возможность выспаться. От усталости я не мог пару раз сдержать раздражения, но Гуля после каждой резкости делалась только мягче со мной. Наконец, она присела на ступенях здания метро и сделала жест рукой, приглашая присесть рядом. — Что ты хочешь сказать? — грубо спросил я, мечтая от нее избавиться. Она продолжала сидеть. Это была одна из тех идиотских сцен,

которые иногда происходят между мало знакомыми людьми, когда они чересчур гонят картину. — Можно, — сказала она с робостью, которой в ней никак нельзя было предположить, — можно, ты возьмешь у меня денег?

Нет, не само предложение оскорбило меня, а та жалость ко мне, с какой оно было сделано. Тогда мне представлялось, что она меня — вольного ходока, писателя с авансом — принимает за кого-то другого; на самом же деле в этом ее предложении было много материнского, ведь она была старше меня, много больше видела, и со стороны для нее я был совсем не тем, кем казался самому себе. Это-то и было самое обидное. Я повернулся и пошел прочь, бросив ее на этих самых ступеньках. Я взял такси, но уже на Садовом попросил повернуть назад, мы долго крутились, пока снова оказались на Арбате. На месте ее, конечно, уже не было. Потом я долго искал монету, чтобы позвонить из автомата, набрал номер, трубку взяла Ольга; она холодно известила меня, что Гуля в сортире; зная ее манеру, я не стал принимать этот холод на свой счет. Сказал, что заеду за Гулей завтра после завтрака, сомневаясь — дождется ли она меня после сегодняшнего.

Утром, пока я стоял в холле, интуристовская гидша прогнала мимо табунчик наших старушек, и я успел подмигнуть своей знакомице. Появилась Гуля: она была свежа, ясна, обворожительна, я поймал себя на мысли, что наше восприятие очень меняется, стоит не переспать с подружкой две ночи подряд. Я обнял ее за плечи, она меня за талию, это было взаимным знаком, что о вчерашнем мы забыли. Я привел ее в ротонду над Пе-

кином, тогда там был очаровательный, всегда пустовавший буфет, где можно было пить кинзмараули, закусывать маслинами и смотреть на Москву на все четыре стороны. Она сказала, что утром говорила с Парижем. И что, пока она отдыхает в Союзе, у нее в квартире был обыск. Она сказала это буднично, без того романтического возбуждения, что охватывало наших диссидентов, когда им удавалось попасть в подобную передрагу. Я спросил, какого черта КГБ от нее нужно? И тут она залилась такими гомерическим хохотом, что мне показалось, она сходит с ума. — Это был Интерпол, — едва смогла она выговорить, и, видя мое идиотское выражение лица, объяснила, что у нее пару раз переночевали то ли члены Красных бригад, то ли бойцы Красного фронта, короче, те самые ребята, что терроризировали в тот год Западный Берлин. Это просто знакомые по Сорбонне, прибавила она, имея в виду, должно быть, успокоить меня, что сама не берет заложников и не подкладывает взрывчатку в автомобили.

Трудно объяснить, но именно в этот момент я с невероятной ясностью понял, какая бездна разделяет наши миры. Это было мгновенное чувство ревности и отчаяния, какое испытывают дети, когда взрослые уходят в гости или в театр, а их укладывают спать. Потом оно сменилось стыдом: за наш маленький тусклый мир, за наши убогие праздники и опасности, за то, что мы вообще не умеем жить.

Скорее всего, она прочла это все у меня на лице. И стала говорить о себе: удивительно, но за все это время я толком о ней так ничего и не узнал. Она рассказывала ровно то, что можно услышать от миллионов женщин в

любом конце земного шара: о французском замужестве в девятнадцать, а талантах пятнадцатилетнего сына, о том, что много лет она любила человека, он женат, они пытались жить втроем, но из этого ничего не получилось, и о русском Париже, и о своем отце — картежнике, который, крупно проигравшись, оставил их с матерью, а нынче выращивает нежинские огурцы на огороде замка под Парижем, доставшегося ему в приданом новой жены. Она не разыгрывала меня, она показывала, что люди везде лишь люди, а потом, когда я расслабился, речь отчего-то зашла о Средиземном море, о Греции, о рыбаках, которые едят маслины с косточками, тогда как французы косточки оставляют, только обглаживают и обсасывают — как мы с тобой? — Как мы с тобой. Подходила к концу четвертая бутылка, и нам опять стало весело друг с другом. Перед тем, как отправиться обедать, я водил ее на улицу Герцена, показывал знаменитый барельеф, на котором красногвардеец так удачно держит в кулаке древко революционного знамени, что в профиль отчетливо видно, как на самом деле он — мастурбирует. Тут стал накрапывать дождичек, и мы поспешили к Никитским воротам — посмотреть на писающий памятник Тимирязеву, и, действительно, из причинного места академика уже прыгала веселой дугой вполне солидной струйка... Наутро они улетели.

Кажется, я впервые был тогда в международном Шереметьеве — только-только выстроенном. Тур еще толпился перед таможенной стойкой — по эту сторону границы, еще слышен был ритулин басок с фистулой мама, ну не нужно так, мама и мамыны сдавленные рыдания, еще договаривали что-то друг другу Ольга и Ди-

ма, и она, как всегда темпераментно, помогала себе жестами крупной сильной загорелой руки, еще обнимались мы с Гулей, но меня уже окатило отрезвляющее понимание, что сейчас предъявят они свои чемоданы, сейчас, прежде чем подхватить их, оглянутся на нас в последний раз, и занавес упадет, они вдохнут с облегчением воздух своего, трудного и свободного, мира, а мы, как рыбы на берегу, останемся дергать жабрами под своим советским колпаком. В последнюю минуту уже по ту сторону я увидел мою старушку: она то и дело прикладывала палец к уголку глаза, а потом долго вела им по щеке. Я тут тоже чуть не расплакался.

Звали ее, кажется, Жоржетта, и мы с ней успели-таки мимолетно соединиться — еще в Ялте. Она сама подошла ко мне с переводчиком, и попросила перевести: у нее простуда, так что она остается на весь день одна в своем номере. Когда наша компания направлялась к лифту на пляж, я сделал вид, будто забыл что-то. Общего языка у нас не было, а я к тому же спешил. Ее тело — особенно грудь и ляжки — оказались на удивление свежим, только ягодички были чуть дрябловаты; она была легкой, как девочка, и при смене позиций ею можно было вертеть и так, и эдак. Торопливо прощаясь, мы обменялись адресами. Уже в конце лета к моему удивлению я получил от нее первое письмо. Оно было написано под диктовку по-английски, а мне было велено отвечать, если хочу, по-русски: у Жоржетты есть кому перевести. Она была вдовой и жила в маленьком городке, а теперь, отлично помня все-все, ол сингс, просила прислать ей мою фотографию. Я что-то ответил ей, не помню — что. Через какое-то время она сообщила,

что ее старший сын, член Национального собрания, будет в Москве с женой, и она дала ему мой телефон. Конечно, с сыном мы так и не встретились, но я сообразил, что, должно быть, она вполне состоятельна. Случалось, в какие-то минуты я мечтал, что вполне мог бы на Жоржете жениться. Мне представлялся увитый плющом старый дом в каком-нибудь городишке Верьер, одном из самых живописных во всем Фраш-Кон-те, с крышей красной черепицы среди купы каштанов, или в городке Тост, что на границе Нормандии и Иль-де-Франс, — живая изгородь из терновника, сад абрикосовых деревьев за глинобитной стеной, немного чахлого шиповника там, где под пихтами читает молитвенник гипсовый священник, — или, наконец, в Комбре, где я жил бы среди жимолости, жалости и милости: что ж, в конце концов она была старше меня немногим больше, чем лет на тридцать.

### III

Дело шло к Новому году, и я опять торчал в Шереметьево-два у таможенной стойки, на этот раз не наверху, но внизу, в зале не вылета, но пр и — бытия. Самолет задерживался. У меня было время поволноваться и вдоволь наозираться вокруг. Встречающих было мало, видно, и пассажиров немного. Я все искал среди них топтунов — тогда топтуны нам мерещились всюду, а любимым занятием, даже своего рода хорошим тоном в среде и относительно приличных людей было вычислять среди собственных знакомых стукачей, — как увидел вполне невероятную на мой взгляд для этого места



фигуру. Это был молодец лет семнадцати отчаянно порочного подзаборного вида; одет он был не без претензий на урловую элегантность, в широко расклешенные грязного цвета, какой бывает только у советских тканей, штаны — такие клеши и мы носили десяток лет назад, — но с одной деталью, явно претендующей на высший шик, — обе штанины по низу были обшиты половинками металлической молнии; несмотря на мороз на дворе, поверх немыслимой рубахи с петухами был на нем лишь утлый клифт, но двубортный и с хлястиком, его здоровенные плечи явно в этот пиджачишко не влезали; рожа его, невероятно тупого выражения, была испещрена красными блямбами недавно выдавленных прыщей, в углах толстых мокрых губ торчали пучки соломы, а стриженная под кривой горшок башка казалась пегой и блестела — может быть, он мазал волосы подсолнечным маслом для пушей укладки. В руках он держал точно такой, как у м<sup>л</sup>еня, букет красных гвоздик в мокром от снега целлофане, точно так же робко вглядывался в неведомые приграничные глубины, и оловянные его глаза пугливо шарили, как и мои, как если бы его впервые послали на квартирную кражу. Нет, он не мог иметь родственников за границей, убей Бог — не мог, — в различных интуристовских переделках я, как некогда с Людочкой<sup>л</sup> Ш., тоже, хоть и из других соображений, назы-, вался кузеном, — и встречал наверняка подружку. Как и я.

У меня было достаточно времени, чтобы вдоволь насладиться нашим сходством. Конечно, в этом дворике мы жили с ним на разных этажах, но здесь, перед лицом Запада, так сказать, у меня не было особых основа-

ний считать, что я сильно от него отличаюсь. Мне только любопытно было взглянуть на особу, которая за свои кровные фунты стерлингов — рейс мы ждали из Лондона, так был на этот раз выбран тур — летит в холодную Россию встречать Новый год с эдаким кавалером. И я эту особу увидел. Ни до ни после я не видел таких изящных мужчин. Это был лорд. Это был человек, на расстоянии распространявший вокруг запах богатства, изящества и неги. Сияя, распахнув руки, он пересекал пространство, отделявшее пограничную стойку от таможенной, оставив позади других пассажиров; бросив что-то таможеннику по-английски, он оказался по эту сторону, его изумительную улыбку заволокло набежавшей волной слез, за шаг до объекта он вдруг застыл и прикрыл глаза, потом чуть качнулся вперед и робко потерся холеной сидящей головой о прыщавую щеку. Мой малец стал пунцовым и все совал лорду цветы, тыча тому под дых кулаком с зажатым букетом. Я был так заморожен этой сценой, что не сразу заметил Гулю, машущую мне издали глянцевым, свернутым трубкою журналом.

Телеграмму от нее я получил два дня назад. До того были письма — нежные, благодарные. Конечно, сама наша переписка предполагала встречу когда-нибудь, но то, что она решила провести со мной Рождество, было для меня полной неожиданностью. На ней была невероятной красоты лисья шуба до пола, светлого золота с белым подшерстком, а концы ости в искусственном неоновом свете отдавали серебром. Непокрытая ее светлая голова грациозно поднималась из этой сверкающей рыжей тучи, и издали светили ясные близорукие си-

ние глаза.

С таможенной у нее возникли проблемы. О чем она говорила с молодым таможенником, мне не было слышно, я видел лишь, как она что-то азартно доказывала, не глядя на меня, разворачивала журналы и трясла ими у того перед носом. Пришел другой, постарше, и вопрос был решен — не в Гулину, кажется, пользу. Она махнула рукой с досады, подхватила два своих кофра, в которые таможенник и не заглянул, и ступила на русский берег. После лобзаний она взглянула на меня лукаво: отлично я им сделала, сказала она. Оказывается, пара Плейбоев и Пентхауз, за пронос которых на целомудренную советскую территорию и шла борьба, были прихвачены ею для отвода глаз; на самом деле в одном из кофров ехала подпольная по тем временам литература: два толстенных тома отца Булгакова, несколько компактных бердяевых и последний номер Континента — все купленное перед отлетом в магазине Имка-пресс. Я поблагодарил, конечно, но она заметила мое недоумение и пояснила, что именно эти книжки заказывал Дима у Ольги, и Гуля решила, что мне тоже будет приятно их иметь. Бердяев у меня уже был, чтение Континента навевало всегда на меня такую же тоску, как чтение Октября, а отца Булгакова, каюсь, я так и не смог осилить. Так что и Булгаков, и Бердяев, и даже Континент были мною потом загнаны по довольно приличным ценам и, должно быть, обеспечили ресторан и выпивку; полагаю, Дима поступал с ольгиными книжками так же, если вообще эти книжки, стоившие в Париже изрядных денег, когда-нибудь к нему приезжали: Ольга предпочитала посылать ему барахло с блошиного рын-

ка — мерд о пюс, говаривала Гуля, — которое он и реализовывал, и один из гулиных баулов как раз и предназначался Диме. В Икарусе, куда я забрался на правах родственника, мы еще посмеялись над гулиной хваткой партизанки, но за болтовней я все прикидывал, как бы половчее посвятить ее в мои текущие обстоятельства. Дело в том, что за истекшие полгода в моей жизни кое-что изменилось: я развелся и был свободен, я выпустил книжку, я снял удобную дачу во Внуково, и шампанское держал в сугробах по периметру строения, и все бы хорошо, когда б через неделю после гулиного отъезда летом в маленькую комнату в полувыгоревшей коммуналке на Новослободской, которую я снимал под кабинет, с чемоданом и спаниелем Мишей ко мне не пришла Галчонок, и, как это часто бывает, когда женщина приходит к вам с чемоданом, она несколько задержалась и сейчас на даче готовила роскошный пир. Дело в том, что ее сожитель-художник тоже собрался в землю обетованную, и ее с собой тоже не брал, поскольку для этого он должен был бы на ней жениться, а вот жениться-то, как он объяснял, он совершенно не хотел; впрочем, я не оставался в накладе — Галчонок оказалась превосходной экономкой, веселой, предусмотрительной и ловкой в трате денег, а к неожиданной гулиной телеграмме отнеслась с полнейшим пониманием, даже не без азарта. Оставалось лишь ознакомить с положением дел Гулю, которая еще неизвестно как — при всей ее широте и практике жизни втроем — отнесется к этому пасьянсу; конечно, мне нетрудно было бы сделать вид, что происходящее с моей точки зрения совершенно естественно, вот только у меня все же были сомне-

ния, что Гуля, знай она наперед об этом раскладе, не нашла бы иное, чем Внуково, место, где могла бы поселиться в новогоднюю ночь за те же деньги. Пока мы ехали до отеля, я так ничего ей и не сказал.

Поселили ее на этот раз в Интуристе на Горького. В холле делегация каких-то скандинавов вылупила на Гулю глаза, и все мужчины группы как по команде повернулись и проводили ее взглядами. Шведы, сказала Гуля, и пояснила: она смотрят не на меня, они смотрят на шубу. Вид действительно был сногшибающе шикарным. — Нравится? — спросила она, и мне не пришлось имитировать восторг. — Отлично, я привезла ее тебе на Рождество!

Это было чересчур; пока она приводила себя в порядок в номере, я отпросился в бар — выпить. Шубы, конечно, брать было нельзя, но не в шубе дело: кажется, Гуля была настроена весьма серьезно. Конечно, у меня был запасной вариант: мой товарищ Женя, владелец двухкомнатной квартиры, обещал мне приют, и я был уверен, что они с Гулей друг другу понравятся. Но не мог же я податься в бега и спрятаться на весь срок гулиного тура: на Новый год были приглашены гости, да и Галчонок ждет меня на даче — точнее, ждет нас. Что говорить, сами знаете, какая морока и тоска запутаться между двумя женщинами, ни одну из которых ты не готов потерять.

Прошло не меньше часа, я допивал третий бокал шампанского, но Гуля все не спускалась; я отравился за ней. Едва я вышел из лифта на ее этаже, ко мне подбежала перепутанная дежурная. — Ваша родственница, — говорила она, задыхаясь, — она вас ищет... она выходит-

ла в коридор... Я не понимал, что ж такого сенсационного, если постоялица в поисках кузена выходит в коридор. — Да, но она выходила... голая, — сказала дежурная. И добавила: она плачет!

Дверь номера была не заперта. Гуля в одном белье лежала на кровати и действительно рыдала. Но тихо, так, чуть поскуливала. На мои расспросы она откликнулась: ты ушел, ты даже меня не обнял, ты сразу гулять по блядам... Я вгляделся в нее, я принялся: анашой не пахло, значит, она то ли катала шары, то ли, что было бы много хуже, успела уколотся. Последнее предположение, по счастью, оказалось неверным. И таблеток она не брала: за тумбочкой стояла большая бутылка Бифитера со свернутой головой. И никаких следов тоника. Конечно, я ее утешил; я обнял ее, как она хотела; я и себе плеснул джина, поскольку испытывал легкую панику. При всей ее экстравагантности, для столь бурных переживаний у нее должна была быть веская причина. Причина была связана со мной и с ее приездом: она вела себя как человек, на что-то решившийся. От сантиментов ее бросило в торжественность, и, не слушая моих увещаний, она заказала ужин в номер: икру, шампанское, севрюгу. Впрочем, она и не подумала одеться, когда официант вкатил в номер столик — только завернулась в простыню. По первому бокалу она настояла выпить на брудершафт, хоть мы и были с ней на ты и вполне знакомы. Чуть дурачась, мы, выпив, принялись целоваться, хоть я сидел как на иголках: местный персонал знал, что у них на этаже советский гость; в этих случаях они вели себя вполне предсказуемо: хорошо, если дежурная сперва попытается меня выставить, а

обращение к спецслужбе оставит на потом, — как правило, они, страхуясь, поступали наоборот. Гуля почувствовала, что я волнуюсь, но истолковала это по-своему: она налила нам еще шампанского и церемонно подняла бокал. — Я решила тебя вы — везти, — заявила она. Я не сразу понял, что она имеет в виду, мне на секунду представилось, что у нее созрел план моей транспортировки в чемодане с двойным дном или в багажнике автомобиля; и я автоматически пошарил глазами по потолку — отчего-то у меня сложилось твердое представление, что микрофоны для прослушивания в отелях должны находиться именно там, и детекторы на случай пожара вызывали мои стойкие подозрения. — Я их ебать, — перехватив мой взгляд, сказала Гуля. И пояснила, что я не должен волноваться, с сыном она уже поговорила; сын все понимает, он не против. И тут она с ожесточением принялась перечислять, что нужно делать: идти во французское посольство с тем, чтобы они послали объявление о предстоящем браке в парижскую мэрию; идти в бюро переводчиков с тем, чтобы они перевели решение парижского суда о ее разводе; идти в нотариальную контору, потом в загс, — она вытащила бумажку, на которой у нее были расписаны все необходимые шаги, а заодно продемонстрировала какой-то солиднейший документ с разводами и гербовыми печатями, свидетельство о расторжении ее брака, как оказалось. Зазвонил телефон по мою душу. Я взял трубку и сказал дежурной, что сейчас же удаляюсь. Дело принимало скверный оборот. Мне стоило труда заставить Гулю одеться, собрать все необходимое в отдельную сумку: она сопротивлялась, она хотела еще шампанского, а

на КГБ хотела срать и срать. Когда я вел ее мимо стойки, рядом с дежурной стоял человек в штатском. Он не стал нас задерживать, и мы благополучно выбрались из отеля. Нашли такси и поехали к Жене в Кунцево; ехать было долго, к моему облегчению в машине Гуля задремала. Глупо, конечно, но мне захотелось на дачу к Галчонку, а жениться не хотелось вовсе: странно, — о чем-о чем, но о браке с Гулей я никогда не думал. Мне вдруг стало хорошо на родине. Это был шанс, долгожданный шанс, но мне не хотелось его использовать. Я был доволен зимой, дачей, я писал новую книгу, я жил с женщиной, которая, как и я, родилась в этом городе. Это был шанс, и я понимал, конечно, что еще не раз о нем пожалею... Когда мы проснулись на следующее утро на низкой неудобной тахте в комнате, где обои отставали от стен, где стояло ободранное пианино, куда хозяин сыпал махорку от моли, прямо над нами были приклеены рисунки Рустама, и посреди красовалось единственное кресло, в котором, задрав колени, в учебных тетрадочках, положенных на книжку или специальную дощечку, складывал Женя свои, записанные бисером вкривь и вкось, виртуозные тексты, я ей кое-что объяснил. Надо отдать Гуле должное — она отнеслась к услышанному совершенно спокойно. Сказала лишь, что ее вчерашнее предложение остается в силе, а что встретить Новый год с моими друзьями и с моей подругой будет очень рада. Я был благодарен ей; я сделал нам троим завтрак; я разносил шампанское, я попросил Женю — и он читал нам стихи; было тридцать первое, и нам нужно было собираться в дорогу, и все, кажется, складывалось как нельзя лучше.



Заплакала она только к вечеру. Все уже сидели за столом, но был включен телевизор, показывали программу Человек и закон; сюжет был в том, что директор вагона-ресторана украл из подведомственного ему предприятия торговли на колесах пару ящиков сгущенки и столько же, кажется, мясных консервов; тут-то Гуля и разрыдалась. Гости конфузливо косились на нее, но она объяснила, что у них во Франции, на всю страну стали бы показывать лишь человека, который, к примеру, зажарил свою бабушку, но никак не украл свиной тушенки, — и у меня возникли опасения, что она, определенно, разочаровывается в левой идеологии.

Впрочем, новогодняя ночь прошла чинно и уютно, вот только ложиться спать не пришлось: глупо было бы, если б я разложил своих дам порознь, а сам улегся в третье место. Так что часов около пяти мы втроем — Гуля, Женя и я — отправились в Москву на электричке. Помнится, был нереальный снегопад, пьяная легкость от бессонной ночи, праздничное чувство начала не нового года, но как будто нового мира, и радостное переживание того, что мы в России. Может быть, мне смутно мерещилось, что я должен открыть Гуле эту страну — объяснить ее мороз, и снег, и колдовскую власть, и тем самым оправдаться, смягчить свой отказ, дать понять, что дело — не в другой женщине, но только в этом снегопаде, в кружении морозной пыли над пустыми полями; я предложил выйти в Переделкино, и мы попали к заутрене. Уже бледно рассветало, но свечи внутри церкви горели, будто в темноте. Как ни странно, было много молодых лиц, и священник был молод, до Рождества оставалась еще неделя. Женя сосредоточенно

молился, а я поставил несколько свеч — за Гулю, и тоже перекрестился на икону Божьей Матери.

Идея идти на могилу Пастернака принадлежала, как это ни странно, Жене. Я никогда не был поклонником этого ритуала, а три сосны как три подруги вызывали у меня просто приступы отвращения, хоть поэт, конечно, в том был не виноват. Впрочем, у нас с собой было несколько бутылок крепленого крымского хереса, — этот самый херес, и вяжущий его вкус на морозе я хорошо помню. Пробираться на кладбище пришлось чуть не по пояс в снегу, так что мы то и дело принимали привалы, вкушая вина из горлышка. Здесь же меня настигло чувство, как все прочно в этом мире — все, за исключением нас, бранных, — и как ничто не изменилось за двадцать лет, когда автор нелюбимого мной стихотворения, так же, едва после рассвета, шел к ранней электричке, и внутренне содрогался от восхищения своей беспутной родиной, и, вглядываясь в простые лица, с умилением вдыхал запахи черемухового свежего мыла и пряников на меду...

Последние дни Гулиного пребывания в Москве прошли у нас в пьянстве: мы почти не выходили из квартиры Жени, мы говорили и говорили, вернее, очень много говорила Гуля, и мне подчас казалось, что она, русская космополитка и не слишком счастливая женщина, и приехала, может быть, в Москву поговорить. Они трогательно сошлись с Женей, и тот подарил Гуле свою гитару — как только она заикнулась, что всегда хотела иметь семиструнную. Бедный Женя, потом он долго эту самую гитару оплакивал и, кажется, даже отразил эти воспоминания в каком-то из своих писаний. Сам он иг-

рать не умел, но инструмент этот был ему очень нужен: в те годы все мальцы поголовно бренчали на гитаре, и очень даже удобно было — попросить его для начала что-нибудь сбацать, сделать вид, что понравилось, и малого похвалить. Ближе к отъезду Гуля стала явно сдавать. Она судорожно то и дело тянулась за рюмкой, пила еще больше обычного, потом вдруг откидывалась на подушку и засыпала на полуслове, но, едва мы с Женей выходили на цыпочках, прикрыв дверь, как звала нас обратно и требовала еще налить. Конечно, она устала, мудрено было не устать, но в то же время в ней было много лихорадочного. Она то и дело принималась говорить нам, что давно мечтает продать свой кабинет в Латинском квартале — продать вместе с практикой и клиентурой, а самой уехать в Камбоджу или Африку врачом — ну хоть в составе Корпуса мира. Рассказывала, что прошлое Рождество встречала на высокогорном курорте в Швейцарии, курорте, весьма дорогом, раз публика в ресторане привела ее в такое неистовство, что она вылезла на эстраду, отобрала у певицы микрофон, покрыла присутствующих русским матом и запела Интернационал. — Эти свиньи тоже запели, — вспоминала она с понятным раздражением. Когда Женя, после долгих консультаций со мной, деликатно попросил ее захватить с собою кое-что из его писаний и переслать по адресу, она с жаром взялась это поручение выполнить. Это сейчас женины тексты широко распечатаны по обе стороны границы, а сам он признан законным наследником Кузмина, но тогда у него не было никакой надежды опубликовать ни строчки из своих гомосексуальных исповедей, и при жизни — он умер через три с по-

ловиной года — он никогда не видел себя напечатанным. Гуля, по-видимому, решила, что речь идет о текстах безусловно для режима подрывных, а значит весьма опасных, и отнеслась к делу с серьезностью завязтого конспиратора, — ход ее был прост, самым эффективным оружием против таможни она избрала и самое легкое для себя, — смертельно напиться.

Перед посадкой в автобус она выглядела уже достаточно пикантно: в своей богатой шубе, с мутными глазами, с семиструнной гитарой и качающаяся. Подоспел и Дима — весьма бриннеристый в дубленочке и сапожках, но по-прежнему и че-геваристый. Он принес передать через Гулю Ольге пятикилограммовую металлическую банку черной икры, — Ольга потом продавала икру в ресторан, и Дима получал очередную посылку с мерд о пюс, — пытался Гуле объяснить, что икру надо ставить в сумку боком и перпендикулярно ходу движения багажа перед просвечивающими устройствами, но Гуля отвечала кратко срать, и Дима лишь попросил меня в случае, если это будет возможно, привезти икру обратно в Москву, и отдать ему, Диме. Я пообещал.

Мы с Женей ввели Гулю в автобус, усадили нан зад, подальше, и едва тронулись, как она потре-» бовала отхлебнуть еще коньяка. Все шло в общем-то неплохо, если бы где-то за кольцевой, в чистом поле Гуле не приспичило сходить в туалет. Никаких увещаний, что ждать осталось немного, она и слышать не хотела, но тянулась к кнопке звонка водителю. Наконец, тот не выдержал и остановился. Страшно качаясь, Гуля выбралась на дорогу: нигде не кустика. Она упала в кювет, проплыла кролем метра три по рыхлой целине, подня-

лась на ноги, задрала свою лисью шубу, спустила штаны, сверкнула ее белая попка, но тут она присела, и попка глубоко окунулась в снег. Биде а ля рюс, — сострил кто-то, автобус захохотал, напряженность несколько спала.

Мимо таможенной стойки товарищи по туру несли ее под руки. Она не в силах уже была расцеловаться с нами, хотя когда ее прислонили к пограничной стойке, вдруг встrepенулась и стала из последних сил махать прощально рукой, но не нам, а куда-то в сторону. Тут гитара со страшным ^звонem хлопнулась на каменный пол, но, кажется,

раскололась. В одном она оказалась права: ни-гому и в голову не пришло досматривать ее багаж, так что и димина икра, и женины сочинения благополучно пересекли границу...

Долго от нее не было ни слуху ни духу. И только весной не я, но Женя получил глянцевую открытку. Была она не из Кампучии и не из Африки, а с Майорки: нечто отдаленно похожее на Ялту, только ярче море, ярче небо, и отель на переднем плане явно пошикарнее. На другой стороне было начертано:

ЖИЗНЬ ЭДИТ ВСОВСЕМ ДРУГУЮ СТОРОНУ, —  
именно так, печатными буквами.

Я же от нее больше никогда не получил ни строчки.

## ПРИБЛИЖЕНИЕ В ХОРОВОДЕ

Я высчитываю свою жизнь семилетиями — как Толстой, который, в свою очередь, научился этому, кажется, у буддистов, а те, по-видимому, приладились, наблюдая за периодичностью активности дневного светила, — так или иначе, в ту весну я испытывал немалое смущение, приближаясь к концу своего четвертого цикла. Для волнительных ожиданий каких-нибудь перемен у меня были кое-какие статистические основания — всякий раз в роковой, кратный семи год что-нибудь со мною да происходило: то в семь лет я заболел стригущим лишаем, трихофитией, если выразиться по-гречески, и очутился в больнице, опоздал в первый класс, очень отстав от сверстников по чистописанию; то в четырнадцать впервые переспал с женщиной — тоже событие как ни крути; в двадцать один по представлению парткома факультета при неясных сопутствующих обстоятельствах меня отчислили с четвертого курса университета, едва не забрили в армию и даже — пусть всего на несколько дней — сажали в Бутырскую тюрьму; сейчас я закончил новый роман, о котором в редакционном заключении сказали, что печатать его нельзя, пока автор не сменит идейно-художественные установки, получил официальный статус литератора, что упрощало взаимоотношения с милицией, и собрался-таки уезжать, но собирался лениво, все откладывая — вот закончу еще один текст, еще одну весну перекантуюсь... Погоняя судьбу, однако, я стремился, конечно, приблизиться к Западу, в конце марта — сорвался с привязи — в Литву, очутился в Паланге, где засел в маленьком, но

вполне пристойном номере — с сидячей ванной, казенным радиоприемником и видом на кроны сосен, — за следующую книгу, — ее-то мне и предстояло в свое время лишиться. Впрочем, судьба нового сочинения сразу не задалась: я начал писать без плана, во многом наобум, вслед за кистью, не поймал тона, но продолжал двигаться напролом, не знал еще, что трудолюбие и усердие — не первые добродетели в писательском ремесле, верил на слово Хэмингуэю, и сам себе выдавал увольнительные за выполненную работу, пусть дурно, но в полном объеме. Впрочем кое-что из написанного тогда вошло в окончательный текст, но позже все черновики, планы, заметки и почти готовую рукопись наряду с многими бумажками, накопившимися за пятнадцать лет сочинительства, замели на обыске, так что сегодня могу по памяти лишь процитировать два эпиграфа, которые были предпосланы сочинению и прозрачно говорили, что не в последнюю очередь моим пером водила клаустрофобия. Первый из Монтеня, что-то вроде: я так люблю свободу, что не могу представить себе существование людей, которым закрыт доступ в большие города; и будь мне заказан въезд в какой-нибудь уголок где-нибудь в индийских землях, я и тогда почувствовал бы себя в некотором смысле ущемленным. И помета: XVII, — дань нашему национальному самоуничижению. Второй — пророческий — из Достоевского, реплика генеральши Епанчиной: довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить; и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа — одна фантазия, и все мы за границей — одна фантазия, помяните мое слово — сами увидите!

Дело было за полтора года до московской Олим-

пиады, и в этот самый Дом со всех концов державы свезли художников-прикладников из молодежи до тридцати пяти — таков был верхний порог, установленный художественной мафией для членов так называемой молодежной секции, своего рода отстойника для чрезмерно скорых дарований, норовивших прорваться к кормушке госзаказов, что только и обеспечивало в мире пластических искусств относительно сносное существование, — самостоятельно продавать свои изделия иностранцам тогда решались лишь самые отпетые, а местные любители, если что-то и покупали, то могли заплатить копейки. В Паланге их собрали в расчете на молодые сообразительность и желание кушать чиновники из Худфонда и Минкульта — выдумывать олимпийские сувениры, которые потом предполагалось втюхивать олимпи-адным гостям за твердую валюту, и прикладные честолюбия, надеясь урвать призрачный приз, слетелись на халяву. Были прикладники почти сплошь не юными, но, скажем, молодыми, дамами — разнообразных колеров глаз, мастей и габаритов: две ленинградки, чуть заступившие, кажется, возрастной предел, — по текстилю; киргизка — шитье по кошме; узбечка — орнаменты для ковров; таджичка — линогравюра; казашка — по металлу; грузинка — по фрескам; армянка — по чеканке; азербайджанка — по дизайну; украинка — по гобеленам; белоруска — изготовление кружев; молдаванка — по рушникам; латышка — ювелир; целых три эстонки — по керамике; патриотически настроенная дама из Вологды — плетение лаптей и выжигание по бересте; застенчивая девушка, по национальности селькупка, создавшая какие-то народные инструменты с ин-



крустацией, я бы сказал — свистки; а также кузнец из Ашхабада, и несколько лет подряд в закоулках письменного стола мне попадались потом клочки бумаги с нацарапанным на них невоспроизводимым именем и пятизначным номером, — по-видимому, свой телефон кузнец мне записывал несколько раз; не было в команде только литовок, но мы находились в Литве, возможно, у них было свое отдельное место сбора. Помимо этой компании в Доме обреталось какое-то количество шахтерских персон из Донбасса, они не выходили за порог, днями играли на бильярде, а ночами глушили горькую, а еще — миниатюрная, как травести, балерина из Киева с печальным мужем в коже — ее балетмейстером и по некоторым признакам неудачливым гомосексуалистом; так что, не считая туркмена, я был единственным представителем интеллигенции мужского пола с гетеросексуальными наклонностями — и в центре интернационального женского коллектива, как инструктор на среднерусской турбазе.

Иногда после работы я приглашал на прогулку двоих-троих из них, остерегаясь вне постели оставаться с какой-нибудь одной слишком долго наедине, но чаще отправлялся в одиночестве слоняться по пустым улицам. Бывало солнечно, городок — чистоват, полон особого приморского света воздуха; в холодном подвале к пиву давали черные соленые сухари, в кофейне на несколько столиков варили густой кофе по-турецки, в стеклянном павильоне на набережной угощали местной целебной водой, на г-образном пирсе, носом указующем на Швецию, торговали бусами грубо ограненного черного янтаря; чайки караулили полосу темной воды,

оставленную отошедшим от берега льдом; это был не загаженный как бы по недосмотру, по российской не-обязательности и социалистической неэффективности, ухоженный западный уголок империи, и скольким русским мальчикам эта полоска прибалтийской земли когда-то представлялась Западом, ведь до Запада и впрямь было рукой подать. Даже осовеченная, эта земля дышала памятью европейских лет: костел здесь состоял в дальнем родстве с готикой, улицы имели понятие о стиле югенд, физиономии частных коттеджей и вилл хранили честную мину, их интерьеры гордились знакомством с бидермайером, и даже крестьянские лица жителей этой маленькой страны, чуть удивляясь сами себе, выражали нечто, отдаленно напоминающее бюргерские ганзейские добродетели. Кажется, сама атмосфера, сам дух неродной опрятности заставлял континентальных разноплеменных скифов бросать окурки не мимо урны, пить настоянный на травах бальзам не стаканами, но вместе с кофе, тянуть из уморительно мелковатых рюмочек ликер Бочу, как гимназистки, а в ночной ресторан являться в пиджаке и галстук — хотя бы ради невиданных ночных эротических зрелищ, что предлагало по пятницам местное варьете; конечно, тайное чувство восхищения омрачалось досадой, отчего ж в этом месте не делают все шалаяй-ва-дядя, не живут на авось, но повседневно заботятся о том, чтобы можно было комфортно дышать, сами себя любят, и не угадать русскому глазу — а отчего, собственно, и за что, ведь они такие же...

В Доме мы быстро обжились; все проникнись духом западной умеренности и терпимости, почти не бы-

ло места грубым азиатским страстям. Одна из эстонок — раскрашивание сервизов — тоненькая, с очень пухлой нижней губой, по имени Эве, все рассказывала, как была замужем в Финляндии, а на вопрос, отчего ж она вернулась, отвечала, что не все отеряно, и она теперь собирается замуж за его друга. Казашка — по металлу, — помнится, едва притронувшись, починила мои ножницы для ногтей, распавшиеся было на две половины, — у нее были маленькие сильные руки, сухой плоский таз и имя Анна, вовсе не казахское, отчего я его и запомнил. Текстильщица из Питера, та, что была чуть помоложе, любила вспоминать, какая она добрая жена; узбечка — по орнаментам — избегала традиционных способов, самообольщаясь, кажется, что она еще девица, но была предупредительна, часто интересовалась, не мешает ли мне ее запах — она и впрямь, потея, пахла чересчур пряно для меня, чем-то вроде гвоздики; грудастая армянка-чеканщица действительно оказалась девушкой в свои двадцать восемь лет; горянка-таджичка, чем творить линогравюры, все писала письма возлюбленному, летчику Аэрофлота, тоже таджику; белоруска была замужем, но без любви, я у нее был первый, и после коитуса она частенько тихо и благодарно плакала; азербайджанка — по дизайну показала себя корыстной, не однажды была уличена в использовании чужих кистей, а грузинка — по фрескам — настоящей артисткой, она хохотала, когда я ее целовал, а потом вдруг картинно откидывалась и щурилась, будто чему-то очень удивляясь; коварнее других зарекомендовала себя молдаванка, тонконогая и злая, у нее было не в порядке с желудком, она интриговала против латышки,

большестопой девки с очень длинными ушами, оттянутыми, видно, собственного изготовления чудовищными серьгами, к тому ж — склонна к левым ходкам, но всякий раз, когда ее застигали у подъезда после полуночи и с посторонним лицом, заносчиво утверждала, что сколько ни было у нее мужчин, все курили ей *мифурамбы*; прикладница патриотка любила декламировать лирические стихи, но это не все, — едва я намеревался в нее кончить, как она заводила гортанным голосом приторную воркотню — у-тю-тю-тю-тю, будто звала гуся, и сперма застревала где-то посередине, как кусок в горле. Кузнец-туркмен играл по вечерам в своем номере на селькупских свистках — очень заунывно, а балетных мы в семью не брали, хоть Дюймовочка почти совсем незаметных пятидесяти лет все норовила пристроиться, пока ее кожаный муж пропадал в бильярдной, хоть она и пророчила ему во всеуслышание, что рано или поздно он будет там побит. Я тоже иногда составляли партию кому-нибудь из шахтеров, которые все как один кричали на катящийся шар стоять и свирепо добивали подставки — под ненавязчивые аплодисменты балетмейстера. Короче, мы вели облагороженную воздухом Балтии чинную жизнь, слегка патриархальную и монотонную, как в стане Иакова; в порядке развлечения, то одной, то другой из моих прикладниц я предлагал идеи сувениров, но, кажется, в этом деле царил какой-то негласный канон, во всяком случае они все очень серьезно относились к своему олимпийскому проекту, может быть не только в надежде выбиться и заработать; кажется, каждый из нас тогда связывал с этой самой Олимпиадой полусознательные надежды, ведь это

должно было стать событием мирового масштаба, что не могло не льстить нашим чувствам провинциалов; мы полагали, что Олимпиада сделает — пусть ненадолго — Москву столицей мира, железный занавес разорвется, как ветошь, уже через девять месяцев в ближнем и дальнем Подмоскovie будет полным-полно разноцветных младенцев, и геронты-властители, утирая слезы умиления, скажут своим гражданам: ребята, обнимитесь же со всеми какие ни есть на нашей маленькой Земле народами; и сократятся расстояния, и каждый услышит песню далекого друга, как уже было однажды, хоть и не вполне удачно. Кто мог знать тогда, что мрачная паранойя властей уже зашла так далеко, что усилиями КГБ многомиллионное население столицы так и не встретится с тысячами иностранцев, и только икарусы Интуриста будут шнырять по пустым улицам, где на каждом углу торчат по несколько милиционеров, среднеазиатской наружности преимущественно. Короче, я не бывал допущен до таинств прикладных олимпийских искусств, хотя, скажем, моя идея, которую я все подсказывал Эве, расписать керамический сервиз на тему советской женской тяжелой атлетики в стиле среднем между Рубенсом и Дейнекой, была и не так плоха; мне оставалось лишь возвращаться к своей машинке и листкам будущего злополучного свободолюбивого романа.

Впрочем, мне вспоминается, все не давал покоя недокомплект моего интернационального, хоть и в строгих рамках тогдашнего Союза, гарема; тяга к завершенности и наивная любовь к простой симметрии — вот что заставляло меня присматриваться и к литовкам — уж коли прикладниц не досталось, то к многочислен-

ной челяди нашего Дома, и прежде других — к библиотекарше, стоявшей, мне казалось, ближе к российской словесности, высокой прыщавой девушке лет девятнадцати, несколько саблезубой, и с такими же ногами, длинными и изогнутыми на манер клинка; эту затею я оставил, зайдя как-то после завтрака в библиотеку и застав на низкорослом столике для периодики алый мотоциклетный шлем; его обладатель не был, как выяснилось, читателем, потому что в прогале стеллажей я обнаружил хозяйку припертой спиной к полкам с классиками, с задранной юбкой и алой, как шлем поклонника, рожей; впрочем, рейтузы с начесом были на месте, как и его штаны, он лишь, крепко ухватив руками ее костлявые бедра, со спортивной неутомимостью бил в нее своим пахом, и оба громко пыхтели, занимаясь столь откровенной халтурой. Взоры мои обратились к столовой, благо там я бывал чаще чем в библиотеке, где в одной из двух смен служила прехорошенькая официантка-блондинка, крепенькая, с крепкими толстыми быстрыми ножками, обтянутыми темным капроном, со вздернутой на зад убочонкой и вертлявыми бедрами; впрочем, как часто бывает, готовность к детопроизводству нижней части ее тела не находила должного отклика у верхней, она была совсем плоскогруда, но зато с выпяченными губками, с нежной голубоватой кожицей на шее под подбородком, улыбчивая и с плутоватыми глазками. Признаюсь, мои пассы и заигрывания имели мало успеха; она ведь не была прикладницей, не имела отношения к культуре, устойчиво стояла на крепких ножках на собственной земле, а мы были для нее — приездие, лишь временные постояльцы, быть может —

и я, и туркмен, и шахтеры — на одно лицо; нас было много, а она одна, и для бесхитростного ума такое положение дел соблазнительно, оно порождает уверенность, и этим часто страдают работницы из obsługi, диспетчерши автобаз или сотрудницы военкоматов, что эта единственность — не результат обстоятельств, но сама суть дела, и как часто такие девушки оказываются разочарованы и несчастны; короче, мне приходилось пробавляться подобными мстительными соображениями, ибо, кажется, шахтеры могли рассчитывать у нее все же на большой успех, а может быть — кто потрезвее — и пользовались таковым. Было обидно, но не впервой: мне хронически не везло ни со служительницами сервиса — стюардесами и парикмахершами, ни с представительницами иных практических профессий, и иногда я с горечью сознавал, что, по-видимому, обречен влачить свои дни в компании с женского пола членами разнообразных творческих союзов. Лишь однажды мой комплимент если не достиг, то коснулся цели: она создалась, что ее зовут Гражина, томно ухмыльнулась и за чем-то добавила: а сестру — Майле.

Забавно, но эта самая Гражина, даже когда она не работала в столовой, что ни день стала попадаться мне на глаза. То я встречал ее на улице, и в ответ на мой поклон она тоже склоняла голову набок; то застал в большой компании за столиком кабаре, и она посмотрела сквозь меня пустоватыми серыми глазами; наконец, как-то днем я встретил ее в кофейне, вид помятый, губы как в лихорадке, под глазами тени; она сидела за соседним столиком, вся в косметике и какой-то дешевой бижутерии, и по-видимому никуда не торопилась, хоть

через час ей предстояло кормить нас обедом; с ней за столиком, спиной ко мне, сидел некто в коричневом кожаном пальто, далеко навалясь на стол и выдвинув вперед правый локоть, низко держа голову, будто подглядывая снизу, и мне было видно, как шевелятся его тонкие пальцы с чистыми ровными ногтями, все оглаживавшие волосы на правом виске. Она же была беспокойна, смотрела мимо него, несколько раз встретилась со мной глазами, и тогда тяжелые от туши ресницы тут же опускались — с усталым кокетством. Кто знает, может быть только на работе она не позволяла себе заигрывать со мной; или таким образом хотела поддразнить партнера. Так или иначе — я подмигнул ей.

Тут произошло странное: ее партнер резко дернулся, — я, когда трезв, обладаю подобной чувствительностью, — повел головой, словно определяя источник принятого сигнала; потом, не оборачиваясь, что-то крикнул хрипловато по-литовски: барменша тут же вышла из-за стойки и поставила перед ним очередную рюмку коньяка, хоть было здесь, замечу, самообслуживание. Гражина — на мгновение она показалась мне исполненной обмана и опасности — сделалась еще более томной, хоть это плохо маскировало ее испуг. Полно, она ли это, откуда в ней этот странный блеск, эта манера загадочно улыбаться, не разжимая губ. Видно, он перехватил ее взгляд и тяжело повернулся: красное лицо, темные мешки слезных желез, но тем не менее он был несомненно смазлив, чересчур смазлив для своих brutальных замашек. Он перебросил руку в тяжелом рукаве на спинку соседнего стула, ткнув между лопаток постороннюю даму, секунду смотрел на меня в



упор и сказал:

— Эй, трупутя коньяко? Кодэл ту токе люднас шян-диен?

Признаться, я было решил, что он требует его угостить, но официантка уже поставила передо мной рюмку с коньяком. Спокойно, здесь — чужой монастырь, и не надо лезть на рожон; я поблагодарил, прижав руку к груди и, поклонившись, взялся за рюмку. Он поднял свою. Рука его не дрожала. — Ты ее откуда знаешь? — повел он своей рюмкой в сторону девушки.

Она отвернулась. Похоже, начиналась одна из тех глупейших историй, в которые лучше не ввязываться в чужих городах. Я так и оставил рюмку на столе.

— Не хочет пить, — сказал он своей спутнице. — Почему бы это, а? И кто он такой?

Она ответила что-то по-литовски, хоть он говорил по-русски специально, чтобы я его понимал. Она явно отреклась от нашего с ней знакомства, что было довольно странно. Я решил, что Гражина до такой степени боится своего дружка, хотя что ж здесь такого, если она меня только что обслуживала за завтраком... Я не успел прийти к какому-нибудь выводу, как передо мной уж стоял деревенский увалень с плоским рябым лицом — и в милицейской форме. Он вяло сделал вид, что подносит руку к козырьку, буркнув при этом что-то вроде сержантаускас, а потом, более отчетливо: ваши документы.

Действительно, кто я был такой? Пришлец, чужак, странник, на которого не распространяются неписанные мужские законы — будь то зоны или масонской ложи. Законы литовской милиции были и уж вовсе не для ме-

ня, русского. Я подал сержантаскаусу писательское удостоверение. Парень равнодушно повертел его и передал кожаному начальству; а потом поводил животом взад-вперед, будто проверяя, на месте ли ремень и портупея.

— Паспорт есть? — спросило начальство по-русски.

— А паспорт? — перевел с акцентом милиционер.

Я объяснил, что живу в Доме художников, и что мой паспорт находится у тамошней консьержки. У администратора, — тут же перевел и я.

И тут спутник Гражины наклонился над столом и театрально захохотал. Та тоже хихикала, прикрывая пальчиками в фальшивых кольцах смеющийся рот, хоть еще утром с ее зубками все было в полном порядке. — Ты слышала, в Доме художников, — хохотал он, тыча ей в грудь моим удостоверением. — Гражина... — И повернулся ко мне, глядя довольно трезво: — Они близнецы. Их все путают. Они это любят. Всегда к одному мужику на свидание по очереди бегают. Но я-то их различаю. — Я различаю вас, верно, Мэйле? — вскрикнул он. И, машинально щелкнув моими корочками, повертел их в руке и опустил в свой кожаный карман.

Меня это открытие нимало не взволновало: близнецы так близнецы. Меня интересовало другое — собственное удостоверение. Оно было для меня в те годы, как права для автомобилиста. Без него я уж никакой не литератор. Ни для властей, ни для окружающих. Ни для самого себя, может быть. Без него я безработный бродяга и тунеядец. Сержантаускас пошел вон из кафе, я тронулся за ним. Перед дверями стоял милицейский газик. — Эй, — окликнул я сержанта, — а мои документы?

Он взглянул на меня с удивлением. — А что я? Это не мой начальник. Это Комитет. К нему иди.

Он залез в машину и укатил. Нет, к нему я идти не хотел. Я, напротив, быстрым шагом пошел прочь от кафе, прикидывая, не пора ли мне собирать вещички и тут же мотать в родную Россию. Городок меж тем как ни в чем ни бывало продолжал строить из себя Западную Европу. На черта мне было перемигиваться с этой Майле, с этой Гражиной. К тому ж, сестры наверняка были полячки. Но — жительницы Литвы, а потому могли все же занять вакантное пятнадцатое место в нашем дружном хороводе... Утром я достукивал на машинке прерванную главу, как ко мне залетел запыхавшийся шахтер-бильярдист: эй, писатель, тебя к директору вызывают. И добавил: там приехали.

Вызывают, это точно звучало. Просят было бы иезуитски фальшиво. Я, оттягивая время, не спеша спускался по лестнице, когда мне пришло в голову, что местная директорша, толстая крестьянская баба, попавшая, видать, случайно в партийную колею, тоже угодила в переплет. Я не имел отношения к подведомственному ей Дому, по правилам она должна была бы взять с меня какое-нибудь поручительство от писательской организации, а не полную стоимость номера наличными. Что ж, в любом случае, с директоршей или без, но я чувствовал себя закономерно попавшимся, хоть, строго говоря, закона я не нарушал и в узкоправовом смысле виновным не был. Я был виновен в высшем смысле, как и любой житель империи хоть бы в том, что неловко подвернулся под лопасть неумолимой машины власти. Справедливость, согласно психологии любого маргина-

ла, — это не от слова право, но некая туманно-экзистенциальная категория; невиновность редкая удача, подарок Судьбы, все остальное — горемычное прозябание во грехе и богооставленности, ибо как иначе тебя Югораздило родиться в этой межеумочной стране... Внешне проникшись смирением, но внутренне готовясь хитрить и изворачиваться, я переступил директоршин порог: она, тяжело хохлясь, сидела за столом, держа в ладонях, как птенца, мою красную книжицу, а мой вчерашний знакомый — в вольной позе в кресле у стены. Увидев меня, он легко привстал и улыбнулся; сегодня он был свеж; он не протянул мне руки, а приветливо заговорил:

— Как же так? Живете, не представившись? Вот, Казимира Витаутасовна и не знает, что у нее — гость из Москвы — писатель. Пришлось нам ее информировать.

Директор взглянула на меня тоскливым парнокопытным взглядом.

— Как вам у нас живется? Как, так сказать, работается? — продолжал он, глядя на меня в упор.

Вот она, волшебная сила документа. Видимо, этот кагебешник, задержав мое удостоверение и установив, что оно не фальшивое, не сомневается, такое — не могут выдать в Москве случайному человеку.

— Отлично, — отвечивал я.

— Кстати, Казимира Витаутасовна, когда у вас там мероприятие намечается?

— Традиционно в конце заезда. — Она листнула перекидной календарь. — Двадцать шестого.

— А сегодня у нас — двадцать четвертое. Превосходно. Проведем на высшем уровне. Мы поможем со

своей стороны...

Я припомнил, что, действительно, намечалась какая-то экскурсия в передовой рыболовецкий совхоз — по слухам, с посещением сауны и дармовой выпивкой, мои прикладницы мне что-то такое говорили. Но директриса мямлила, я понял, о чем она думает: всегда все обходилось, слава Богу, без вашей помощи.

— Это традиционно, — повторила она с катастрофическим акцентом.

В молчании мы с ним смотрели друг на друга. Он был, как и я, темный шатен. Может быть, лет на пять старше. Моего роста, но уже в плечах и в кости. У него был маленький слишком яркий рот, небольшой аккуратный подбородок, короткий нос темные глаза неверного, сумрачно-нежного, воровского выражения; от него крепко пахло отвратительным польским цветочным одеколоном, который в те годы продавали повсюду — в оплетенных соломкой бутылочках.

— Это там, — сказал он, махнув рукой в западном направлении, в сторону Клайпеды.

— Традиционно, — сказала Казимира Витаутасовна...

Нет, мне положительно был непонятен восторг, подозрительна эйфория, в которую впали эти в общем-то неюные, малознакомые между собой женщины, многие из которых были к тому же женами и матерями, хранительницами, так сказать, очагов, когда им обрисовали программу и назначили срок. Меня коробила их готовность принимать участие в столь сомнительном мероприятии, как совместное посещение сауны в совершенно незнакомом месте, наверняка с возлияния-

ми, с Бог весть чем еще... Что вы хотите, чем еще как ни ханжеством мог я прикрыть от самого себя тот нехитрый факт, что я заранее ревновал свой гарем? Во время сборов перед посадкой в автобус и потом, по пути в автобусе царило то особое возбуждение, которое сопровождает всегда предвкушение греха и преступления запрета — так мы в наши пятнадцать лет ждали очередного бардака, — и порождает в соучастниках ложно братские чувства друг к другу. Автобус катил меж двумя шеренгами педантично крашенных известью по колено лип, а молдаванка сидела на одном сидении с латышкой, корыстная прежде азербайджанка уговаривала безответную белоруску пользоваться именно ее шампунем, а патриотка подбивала селькупку с кузнецом спеть какую-нибудь народную песню хором. Километров через десять свернули к морю, нырнули в сосновый лесок; мелькнул столб с табличкой, удостоверяющей, что мы въехали в запретную приграничную зону, и Запад вплотную приблизился к нам.

Остановились меж двух строений, деревянных и резных, как олимпийские сувениры. Выгрузились. Нас ждал высокий пожилой литовец в костюме и при галстукe, без шляпы, хоть на дворе было не выше трех-четырёх по Цельсию. Это был директор рыболовецкого передового хозяйства, но об осмотре производственных мощностей и речи не было. Директор объяснил, что в строении пониже — сауна, в строении повыше — гостевой дом. Все было до невозможности ясно: мы попали в заповедник для развлечений местной номенклатуры, которая, как и во времена Хлестакова, держалась при коммунистах стаей — городничий, шеф КГБ, почтмей-

стер, директор пищеторга, прокурор. Впрочем, совхоз ловил и другую рыбу, потому что когда нас провели в обширнейшую гостиницу, которую в саунах попроще назвали бы предбанником, следом была внесена молочная фляга, тут же покрывшаяся испариной, и большое блюдо копченого угря. Здесь же стоял и огромный электрический самовар, играла популярная в те годы цветомузыка, и радужные блики плясали на боках разноплеменных, как наш коллектив, бутылок в баре. В следующем помещении лежали стопками махровые полотенца и простыни. Шофер, вкативший флягу, тут же вышел, а директор напутствовал нас на малопонятном русском — суть инструктажа сводилась к дому, чтобы мы чувствовали себя как дома, и что по традиции в сауне мальчики и девочки находятся вместе. И дверь за ним закрылась. — Как хорошо, мой Бог, как прекрасно, спасибо всем, как хорошо, — вдруг запела лирически настроенная патриотка и закружилась на месте. На остальных это подействовало, как призыв: все зашебурились, задвигались. — Ой, что ж это мы, девчата, — все хороводила патриотка, — пар улетает...

Но и пар был на месте, и девчат понукать оказалось ни к чему, они так и кинулись раздеваться, не обращая на нас с кузнецом никакого внимания, причем с наибольшим пафосом, я заметил, обнажались мусульманки, как равнинные, так и представительницы горских народов. Вскоре перед глазами было скопище голых тел, грудей и плеч, задов и лобков, и в таком количестве женщины не возбуждали, хоть, признаться, с некоторыми у меня дело так и не дошло. Напротив, голые тела как бы выворачивались наизнанку, и как-то особенно

бросались в глаза пигментные пятна, прыщики на спинах и ягодицах, неровности кожи, некрасиво гнутые пальцы босых ног и краснота в промежностях. Галдя, они стали втягиваться в парную, и мы с туркменом последовали их примеру. Впрочем, бедняга кузнец не разделял моих ощущений — скорее неприятных, глаза его одновременно и маслились и искрились, мужество вздыбилось совсем по-жеребьячи и казалось непропорционально большим для его роста, для тоненьких коротких кривых ног. Он кой-как замотал член махровым полотенцем, и мы уселись с ним на приступочке с краешку, скромненько, рядышком.

Добро б, это была русская баня, где активной деятельностью по поддаванию, хлестанию и кряканью можно отвлечься; здесь же сиди, как в курятнике, глазами на расставленные ноги напротив, классифицируя груди по форме и объему, по направлению сосков, совершенно разнокалиберных, от почти черных, пористых, торчащих как грибы, о которых не знаешь — съедобны ли, до нежно-розоватых, почти незаметных, сливающихся с краснотой округ них как случайной неровностью. Разница между женщинами в толщине ляжек, форме бедер, покатоности или угловатости плеч, количестве складок на животе, расположении родинок, да и в виде груди в конечном счете второстепенна, ко всему этому быстро привыкаешь и почти перестаешь замечать. Подлинные же отличия, которых не забыть, были, увы, сейчас скрыты под одинаковыми треугольными черными, рыжеватыми или русыми с желтизной паричками, вот только у белесой селькупки лобок оказался тоже блондинисто-прозрачным, не в кудрях — в ре-



денькой щетинке и не скрывал аккуратно поджатых сейчас скромных розовых губок. Туркмен ерзал рядом со мною, но мой пенис по-прежнему вел себя благовоспитанно, так что я и за кузнеца и за себя развлекал дам шутивными разговорами. Правда, каюсь, я все посматривал на одну — из эстонской сборной, девушку вполне экзотическую, наполовину эстонку, наполовину бурятку, которая была мною намечена еще загодя, поскольку до автономий у меня дело еще не дошло и она хохотала громче всех, хоть сауна, на мой вкус, располагает, скорее, к неге и созерцательности... И вот первые, распаренные и ошалелые, стали выскакивать и с визгом падать в ледяной бассейн, туда же подтолкнул и я кузнеца, которому это было просто необходимо, сам же, завернувшись в простыню, отправился отведать пива из запотевшей фляги. Хлынул из-под тугой крышки ураган хмельных паров, закапал жир с ухваченного с блюда угря, я зачерпнул кружку, глотнул и испытал тот прилив высокого блаженства, которое хоть и не заменяет любовь, но ради которого, собственно, наши предки и придумали баню. Одна за другой являлись и мои нимфы, я служил виночерпием, подавая каждой по кружке холодного напитка, представлявшего собой нечто среднее между деревенским квасом и деревенской брагой, коварство которого я тотчас же распознал: на первый вкус напиток был безопасным, как Буратино, но таил мощный резерв оглушать и валить с ног. А тут еще освежившийся кузнец, замотавшийся по горло в цветастую простыню с павлинами, совал каждому рюмку своего, туркменского, коньяка, и ничего не подозревающие барышни хлобытали пиво, ели угря, запивая

все коньяком из песчаной Туркмении, в которой, если меня не подводят геоботанические представления, даже саксаул цветет отнюдь не ежегодно. Какой-либо строй — нарушился: одни еще млели в сауне, другие мылили головы под душем, третьи уж не отходили от хмельной фляги; кто-то кувыркался в бассейне, кто-то полез за хозяйским вином в бар, — я, последовав примеру кузнеца и плотно завернувшись в простыню, вышел на крыльцо и прикурил сигарету. Я затянулся, но опустив взгляд с небес на землю, увидел метрах в тридцати моего друга из местного КГБ. Боже, как мог я забыть о нем. Он хлопотал вокруг костра, все подбрасывая в него аккуратные чурочки; чуть в стороне копошились две женские фигуры, и хоть были уже сумерки, я узнал сестер Мяйле и Гражину. Он разогнулся и вяло махнул мне рукой. В свете уходящего дня и отблесках разгорающегося костра мне хорошо видна была его фигура: он был в охотничьем, костюме, как сказали бы в ином веке, в замшевой куртке с бахромой, в таких же полусапожках, в обтягивающих ноги кожаных штанах — подобным образом и я одевался в студенческие годы, благо Польша тогда хорошо жила на западные кредиты, вещички оттуда доплывали и до столицы бесперебойным ручейком. А он был хорош, ничего не скажешь, бестия. Море, море услышал я за спиной; патриотка оттолкнула меня, выпорхнула босиком во двор, простыня развивалась вокруг ее длинного голого тела, она, безусловно, была далеко не трезва; волнообразно покачиваясь и восклицая, с блуждающей на лице восторженной улыбкой пошла она к костру: где же море?

Море-то было на месте, сразу же за ближайшей

дюной, и в тишине хорошо был слышен звук прибоя. Но мне было не до моря, меня охватила грусть. По мере того как мои голые захмелевшие подружки тянулись мимо меня вереницей к костру, будто под гипнозом, я испытывал все более глубокие приливы гуманизма. Пред моим внутренним взором, вдруг просветлевшим, одна дивным образом отделилась от другой. Волшебным способом я нежданно прозрел душу и долю каждой. Вологодская лапотница и затейница вдруг предстала мне страдающей рядом с несносным мужем — заместитель начальника товарной станции, он уволил и лишил места в рабочем общежитии молодого иногороднего диспетчера-нигилиста, что был влюблен в нее и писал стихи; тихую мою белоруску я застал за стягиванием сапог с пьяного военнослужащего мужа, и уже в постели, прижимаясь жаркой грудью к его безответной спине, она все шептала: постылый, постылый; грузинку по всей Плеханова считали кикелкой — за то лишь, что училась в художественной школе и ездила на практику, жила скопом с другими в бывшем дворце князей Мочабели, и как ей теперь было выйти замуж; сердце армянки сжималось при мысли, что братья узнают, и все поймут ее тридцатилетние девушки-подружки; таджичка много плакала, по несколько раз в месяц летая в самолетах Аэрофлота по линиям Душанбе-Москва, Душанбе-Ленинград, Душанбе-Киев, иногда в туалете, потому что лишь в гостиницах для летного состава могла соединиться со своим возлюбленным — на месте у него было уже две жены и довольно много детей; и не было, не было никакого такого его друга для маленькой эстонки Эве в местечке под Хельсинки, откуда она сбежала, ис-

страдавшись по родному городу, по виду на кафедральную площадь и ратушу из своего окошка, пусть в квартире и не было ни канализации, ни горячей воды. Молдавская судьба мне прозрелась с какой-то уж и во все пугающей филигранной ясностью: не так давно тонконогая молдаванка полюбила, забыв все рушники на свете; возвращаясь с любимым из ресторана и идя через сквер на площади Ленина, она закинула спяну почти новый австрийский туфель в черные кусты; он, конечно, полез искать, и она загадала, что коли найдет — она не изменит ему никогда-никогда; туфель нашелся, от разочарования уже через два дня она переспала с его приятелем, и сердце ее теперь было навек разбито... — Бедные девочки, — твердил я про себя, — бедные мои, бедные девочки; ибо что иное, чем человечность и сострадательность придет нам на помощь, когда нас готовятся обижать.

А дело шло именно к тому. Сейчас кагебешник примется за мой гарем. Врежется, как тапир, в мое беззащитное стадо: не могу же я в самом деле, заявить здесь, где до цивилизованного Запада рукой подать, что все эти полтора десятка женщин принадлежат одному мне. Да будь мы даже на Ближнем Востоке — как мог бы я, без евнухов и верных служанок, оберечь бедняжек от посягательств этого липкого чудовища с глазами вора и полномочиями Лубянки.

Я тоже подошел к костру, по-обок расположилось целое хозяйство. Стоял наготове мангал, томилось под спудом мясо в маринаде в двух больших эмалированных тазах, и, верно отточенные насмерть, торчали в промезлой земле веерами тонкие шампурки. Всем заве-

довали сестры-близнецы, наряженные фасонисто: в джинсы, в одинаковые черные шерстяные блузочки, в белоснежные фартучки, а белые волосы каждой заколоты были томно-бордовыми привядшими розами. Кагебешник, безусловно, был в своем роде артист.

— Альгис, — сказал он негромко, когда я подошел ближе, но как и прежде, руки не подал. Мое имя он знал и без подсказок, и я промолчал. Он посмотрел на меня долгим неверным взглядом, в котором чудилась угроза. И вскинул руку. В окошке гостевого дома мелькнул свет — и грянула с небес оглушительная музыка. Давешний шофер, появившийся из дверей, тащил ящик шампанского. Одна из сестер пошла обносить всех бокалами, другая лила терпкую пену, пробки хлопали, костер полыхал, все чокались с таким волнением, как если б им предстояло встречать Новый год, а кто-то уж танцевал, обняв одна другую за талию, дурачась и хохоча.

Альгис протянул бокал и мне. Подставил свой. Бокалы на миг сомкнулись, и, по-прежнему глядя друг другу в глаза, мы выпили их до дна. Что-то блатное и порочное было в его манере и пластике, чуть надломленное, сдвинутое с оси. Похоже было, он предлагал, мне молча нечто похожее на дуэль. Тут ему под руку подвернулась одна из сестриц, он с оттяжкой хлопнул ее по задку: что, хороши мои девочки, а? Хочешь их перепутать?

Он знал, куда бить. Конечно, я хотел. Что ж, это поджентльменски — предложить мне такую компенсацию. — Девочки хороши, — согласился я, чувствуя, что уже не вполне трезв.

— Танцуем, танцуем, девочки, — гортанным криком созывала товарок патриотка, — пьем и танцуем.

Затейница, она была уже пьяна в лоскуты. Многие от нее не отставали. Кто-то уж пил из горлышка, кто-то пьяно смеялся, кто-то щипал другую за грудь, и музыка гремела над пустынными дюнами, шампанское лилось, отплясывал кузнец, все подхватывая падающую простыню, и плясали на простыне павлины; селькупка все жалась к нему, озираясь, то и дело повизгивая — несколько истерически, как мне показалось.

— Богема, — объяснил я Альгису, как бы оправдываясь за весь этот балаган.

— Да, художники, — кивнул он и приобнял меня за плечо правой рукой — в левой у него был бокал. Его бедро на мгновение прижалось к моему бедру, я отчетливо почувствовал жесткую кобуру, висевшую у него под мышкой.

И тут я взбеленился. Я с презрением смотрел на одинаковых сестриц, а потом переводил взгляд на свой интернациональный цветущий хоровод. Вот в чем смысл их сдвоенности — в раздушевленности, но взаимозаменяемости, в неотличимости. Нет уж, сам их пугай, гад, руки прочь от искусства, — и здесь я выпил еще бокал шампанского, — подавалы и бляди, вот твой удел, чекистская рожа, а мы, артисты... Он прервал мой внутренний монолог, поманив за собой.

Мы шли рядом, — к морю, я — в банных тапочках и закутанный в махровую простыню, и он, весь в коже и замше, с пистолетом под мышкой; мы перевалили дюну, горизонт открылся перед нами. Стемнело, ветер дул из Европы, было пустынно вокруг, и голым казалось

море; лишь слева помаргивал какой-то огонек.

— Видишь? — спросил он, указывая туда. — Видишь огни? Это уже за границей.

— Как близко, — мелькнуло у меня, — Господи, как близко.

— Хочешь туда? — спросил он. И ответил сам себе. — Вы все хотите, артисты.

Так вот зачем они оградили границу неприступными многокилометровыми зонами: чтобы мы ее даже не видели... Мой спутник сунул руку под мышку, я инстинктивно отпрянул, он вынул бутылку коньяка.

— Пей.

— Сначала ты.

Он сделал два жадных глотка, завинтил крышку и сунул бутылку в карман — только сейчас я понял, что -- в левый. Его рука скользнула под мою простыню, сжала мое голое плечо; он вдруг наклонился и принялся страстно жевать мое ухо. Боже, какой же я был болван, что не понял все с самого начала. Что ж, в этом есть известная логика: я имею весь Советский Союз, с одной, правда, недостающей республикой, а КГБ, хранящий на замке его границы, собирается выебать меня. Я сильно его оттолкнул — нет, не ударил, только толкнул, я всегда считал, что отвечать ударом на поцелуй — признак очень дурного тона, такое могут себе позволить только женщины мужских профессий, но он отлетел на метра три, едва не упав. Через секунду я увидел направленное на меня дуло пистолета.

Дуло было маленькое, крошечная дырочка, почти незаметная в полутьме. До сих пор я видел лишь игрушечные револьверы, что смотрели мне прямо в живот,

и, может быть поэтому, почти не испугался.

— Ты находишься в приграничной зоне, — сказал он совершенно без акцента.

— Неужели он меня сейчас пристрелит? — подумал я. При попытке, говоря их языком, нарушить государственную границу. И это было бы в какой-то мере справедливо — по их законам. Попытки, правда, я не совершал, но желание-то, желание вырваться из этой страны — разве желание нельзя расценивать как попытку?

— Трус, — сказал он.

Я не считал себя трусом, но он сказал это с такой ненавистью, что я и впрямь почувствовал, как наступает мрак и холод, какой уж тут, к черту, Монтень. И вдруг он захохотал. Тем самым своим ложно мефистофельским смехом, что я уж слышал однажды.

— Я могу тебя пристрелить, как собаку, — выкрикнул он, достал бутылку и еще выпил. — А могу взять под арест. Но ты мне не нужен. Через пять лет от твоей фигуры ничего не останется. Жопа раздастся. Ты слышишь? У тебя будет старая никому не нужная жопа, — кричал он, — у тебя выпадут волосы, отвиснет живот. Ты будешь просто вонючий русский мужик. От тебя будет пахнуть говном. От тебя уже несет говном...

Да, недолго, по-видимому, осталось ходить ему в солдатах партии. Я отвернулся, я не стал слушать его педерастическую истерику. Он размахивал пистолетом, кричал, пил из горлышка коньяк, опять кричал что-то мне в спину, пока я взбирался на дюну. Наверху я обернулся, нет, не на него, конечно, на тот слабый мерцающий огонек, что был уже за границей, на Западе. И еле



разглядел его в надвигающейся тьме.

У костра водили хоровод. Из черного окошка гостевого дома слышались взвизги и стоны. Судя по тому, что на крылечке безутешно рыдала селькупка, я понял, что кузнец — кует, пока горячо. Я подхватил одну из сестриц и тоже устремился погостить. Я таки перепутал их — при свете, пожалуй, я бы смог отличить одну от другой по улыбке, но мы не зажигали огня. Пока я стягивал с нее джинсы, она что-то убедительно лепетала политовски, но мне было не до ее воркотни. Я взгромоздился, прицелился — и хоровод сомкнулся.

## ФОНТАН И АННА

Все мы, настроенные хоть чуть суеверно, — каббалисты своего рода: мы воспринимаем текст нашей жизни как криптограмму, которую надеемся разгадать, прислушиваясь к предчувствиям, доверяя приметам, коллекционируя совпадения, переклички, знамения. Но шифр надежно скрыт от нас, и потуги наши совершенно бесполезны, — кто в самом деле надеется, даже проникнув в замысел рока, хоть в чем-то его изменить. Так что любопытство наше сродни дерзанию Одиссея, когда он, отвернув прочь от Итаки, взял курс на Геркулесовы столпы, отлично зная, что за ними в Океане — вода, одна без края вода... Так вот, о совпадениях, — из них сошло начало этой истории, и само их обилие, как известно всякому неофиту каббалы бытия, вернейший залог ее подлинности, — расположим их в хронологической последовательности.

Осенью уже описанного, преолимпийского года у меня был мимолетный роман с полячкой из США по имени Лола, красавицей и авантюристкой — правда, несколько меланхолического толка; мы познакомились с ней на проводах моего приятеля Оси, переселявшегося в Америку по израильской визе, и мы еще встретимся через сколько-то глав, — не знаю уж, кто ее туда привел. Мы сошлись в ее номере гостиницы Берлин; мы вместе отправились в Ленинград, были в Кировском на Бахчисарайском фонтане, а трахались в ее апартаментах в Московской; мы вернулись в Москву, спали в Переделкино у Дуды, и только в последнюю ночь перед ее отъездом, когда я заявился к ней в Пекин с большим

букетом роз, в темноте она пробормотала нот соу джентел, и я понял, что никогда больше ее не увижу. Это было печально, я, пожалуй, был покорен ею, припухлыми простонародными губами, славянским разрезом глаз и рисунком скул, ее грудью с вкладки Плейбоя — она и впрямь какое-то время была секретаршей Хью Хефнера, — красотой ног и рук, — и готов был к продолжению. Но — что верно то верно — я вел себя утомительно влюбленно, бывал прилежно нежен с ней, впрочем, даже если б не эта скука, нищий московский литератор — последнее, что могло понадобиться ей в жизни, которую она торопливо проживала по законам трансконтинентального воздухоплавания. — И, перечитав этот абзац, я обнаружил, что, пожалуй, ключевыми здесь являются слово фонтан и само имя Лола.

Перелистаем еще пару лет. Похмельным осенним утречком я завтракал с приятельницей все в том же Национале, — ныне захваченном австрийцами, и нам его, пожалуй, уже не отбить, — как заметил женщину, сидевшую через пару столиков, откуда долетали обрывки фраз: шахматная фигурка, головка в темных кудрях, интернациональное выражение глаз, довольно заметный акцент, — и при всем моем неиссякающем интересе к хорошеньким дамам, все ж необъяснимо, отчего я никак не мог отвести от нее глаз. Не стану врать про предчувствия, сам в них едва верю, — и это при том, что именно предчувствия предостерегали меня не раз от серьезной опасности, так что неверие это, конечно же, легкомысленно, — но я как будто узнал ее. Нет, это не было скучновато-обыденное дежавю, но — тормозящее бег времени узнавание именно, узнавание чего-то да-

лекого, воспоминание о бывшем с тобой и не с тобой, короче — то самое, что понятно без объяснений любому приверженцу учения непальского принца. Приятельница моя, естественно, заинтересовалась — что я такое там увидел, пришлось объяснить ей, что ломаю голову — кем может быть вон та женщина — одна в двенадцать дня в Национале беседующая на плохом русском с двумя командированными из провинции бабами, явно ей незнакомыми, соседками по столику. Должно быть, прибалтийская гастролерша, заявила моя приятельница, и это, кстати, было сносным объяснением. Два слова об этой моей вполне необязательной знакомой: она служила методистом на Выставке достижений народного хозяйства, а я писал тогда статью про этот химерический ансамбль для журнала по русскому подпольному искусству, издававшегося нелегально в Париже, и для лучшего знакомства с предметом, всякий знает, гида и помощника нужно иметь под рукой, ближе всего — в собственной постели. — Итак, случайное впечатление в Национале во время завтрака, посвященного обсуждению особенностей архитектуры и планировки парка столичной ВДНХ.

Еще через неделю я был приглашен — по поводу, кажется, очередной годовщины Октябрьского большевистского переворота, как всегда говорили в нашем кругу, — на обед к Вике, той самой Вике, коллекционерше и галерейщице, некогда — рыжей бестии, тогда — уже стареющей даме, лесбиянке по концепции и нимфоманке по убеждениям, много тратившей на любовников и молодых самодеятельных живописцев, хозяйке знаменитого в те годы салона на последнем этаже гене-

ральского дома на Садовой, салона, посещавшегося важными иностранцами и московской богемой, причем среди первых бывали персоны и в ранге послов, среди вторых — маститые топтуны, и о котором ходила слава, что салон — да и сама хозяйка — содержится КГБ, в чем безусловно была доля истины, я еще скажу об этом в другом месте. Чуть припоздав, я застал уж за столом целый винегрет: тут был и настоятель храма в Антиохийском подворье, в черной рясе, продолжавшей смоляную бороду, с косой на затылке, частью ливийский дипломат, частью сирийский соглядатай; художник Толя Л. писавший все больше траву, но не в уитменовском смысле, — впрочем, вряд ли он знал, кто такой Уитмен; цыганский еврей Фима Д., персонаж колоритнейший, специалист по молоденьким девчонкам и таборному фольклору; мексиканский атташе по культуре, подозрительно блестяще рассказывавший наши анекдоты с грузинским, еврейским или чукотским акцентом, позже застреленный на каких-то шпионских тропах; Ксения, — и она, Анна.

Я тотчас узнал ее, она меня нет. Теперь я без помех и вблизи — меня усадили ровно напротив — разглядывал ее лицо. У нее были чуть водянистые зеленоватые глаза, темневшие от сантиментов и неожиданных приступов ярости, в чем я смог убедиться несколько позже, прямой, чуть закругленный нос, строго очерченные губы и прекрасная посадка головы; она была красива особой, аристократической некрасивостью, столь далекой от массовых образчиков банальной смазливости с обложек иллюстрированных журналов, она блистала породой, будучи совершенна в своем роде. И оказалась

американкой. Я совсем иначе представлял себе жительниц противоположного континента, пусть даже и демонстрирующих результаты двухсотлетнего отбора — крупные блондинки с хищными пастями и веснушчатыми носами, на лицах которых написано-таки их фермерское происхождение, впрочем, выяснилось, что она итальянка, хоть живет в Штатах полтора десятка лет. Чем она занимается в России? — Шершеневичем. Иезус Мария! — но скоро с окраин русского футуризма разговор перескочил на последнюю эмигрантскую книгу Лимонова *Дневник Неудачника*, и я заметил, что эмигрант и неудачник — это почти синонимы.

— Я тоже эмигрантка, — сказала Анна, но я — удачни!

Милая, милая, нужно было тогда же постучать по дереву, благо в Викиной квартире было сколько угодно дерева, ну хоть по резному буфету ложноанглийской наружности, на худой конец сплунуть три раза через плечо... Натурально, после нескольких бокалов шампанского и кое-какой севрюжки мы, не сговариваясь, вышли из-за стола и отправились по закоулкам огромной квартиры смотреть картины, и за ближайшим углом перед первым же полотном бросились друг другу в объятия. Позже она обронила как-то, что у нее это бывает или сразу или вовсе не бывает, — точно как у меня, я всегда любил афоризм покойного Жени, что, мол, ухаживание — дело не барское, и не нужно обращать внимание на хамоватую форму, на самом деле здесь провозглашается нежнейшая истина электротехнического толка, что в любви главное — короткое замыкание.

Но все это к слову. Тогда — мы выскользнули из

салона, мы выбежали на улицу, мы схватили такси и с разбегу очутились в моей кровати, хоть и жил я у черта на рогах, в Бибирево, страшно вспомнить. В сумерках она собралась было уходить, но мне не хотелось ее отпускать; вечер только начинался, у меня были планы и иных развлечений, но я удержал ее — с тем, чтобы под утро наградой мне был ее тихий лепет: как хорошо, что ты уговорил меня оставаться.

Нет, у меня и в мыслях не было искусственно длить эту связь. Какая корысть, мне ли было не знать, что ничего из этого все равно не получится — чересчур далеки наши континенты, слишком прочен занавес, фатально неисполнимы даже простые желания, а значит — легковесна и неверна интернациональная любовь. И простота нашего соединения была как бы ответом на столь печальное положение дел, единственным ответом, который мы могли дать. Раз так, куда как просто было перешагивать условности, отбрасывать разницу положений и воспитаний, привычек и языков, как легко обнимать и ласкать друг друга, как славно вышептывать англо-русскую нежную невнятицу, как сладко и щемяще вдыхать аромат краденой у случая взаимной найденности, срок которой заранее определен стоящей в ее паспорте визой. Быть может, подобные обстоятельства — идеальны для любовников: меня, во всяком случае, ничто не отвлекало от ее прелестной женственности — ни призрачность взаимных надежд и расчетов, ни суетливые и докучные мысли об общем завтра, я только наслаждался ее полной грудью при миниатюрности фигуры, укромностью всего ее тельца, дышал ее волосами и ее лоном, восхищаясь неожиданными подробностями, ко-

торые мне удалось сразу же угадать: скажем, когда она кончала, матка ее принималась столь дивно пульсировать и трепетать, что шейка подчас показывалась наружу, и уже к утру я наловчился успевать поймать ее губами или хоть на миг дотронуться языком.

За завтраком она очень смеялась, когда я рассказал, что однажды уже видел ее в кафе и принял за вильнюсскую проститутку; впрочем, она потребовала, чтобы я назвал цвет ее блузки и цвет ее юбки, я назвал, не забыв даже серебряный поясок на талии; она перестала смеяться, задумчиво посмотрела на меня. Мы много говорили в то утро, как будто торопясь. Выяснилось, что она живет в Индиане, где преподает русскую литературу в местном университете. Я обронил вскользь, что у меня была знакомая из этого штата. Лолла? Я был поражен: ты ее знаешь? — Мы подруги. Я уже догадалась. Она рассказывала мне, что был у нее в Москве один сумасшедший русский...

Пусть другие называют это игрой случая. Но только я, — а, кажется, и она, — знал, что означает подобное наслоение совпадений. Здесь уж одно из двух: или вы метафизик, о которых еще Юнг говорил, что они — лишь шарлатаны от психологии, или артист, и в последнем случае вам тут же становится очевиден прозрачайший художественный замысел — ясности пейзажа за окном. Конечно, нам обоим претила любая предумышленность, она только вредит поэзии, так что мы принялись как бы исподволь, невзначай грести в одном направлении. Среди многих определений любви хорошо такое: нарушение дискретности. Так вот, мы взялись всячески день ото дня попирать какую-либо дискрет-



ность, третируют ее, пытаюсь жить, фигурально говоря, не разнимая рук. Естественно, повседневная реальность покушалась на нашу пастораль, облакаясь то в форму вахтера в общежитии института имени Пушкина, куда Анна привезла кучку американских балбесов — своих студентов, то прикидывалась расписанием ее занятий, то и вовсе оборачиваясь какой-нибудь бытовой мишурой, но мы-то, бессознательно усвоившие общий план, в котором наше странное знакомство было лишь завязкой, успешно разоблачили все эти подвохи, послав к черту КГБ, администрацию ее института, атташе по культурному обмену американского посольства и кое-какие мои — впрочем, и без того необременительные — жизненные обязательства.

Она оказалась итальянской графиней, хотя очень не любила вспоминать об этом: Америка, как Советская власть, отучает помнить о титулах и голубой крови; родилась в родовом поместье под Туринном, католичка, в отрочестве была сдана в закрытый пансион для отпрысков хороших семей женского пола — в ее фамилии присутствовали и де и ла; оттуда она выпорхнула восемнадцати лет и девицей, отчего, по-видимому, и сбежала тогда же в Калифорнию. Похипповав по пляжам Фриско, подцепила парнишку из американской глухомани, который и стал ее мужем. Они зажили в провинции, она училась в университете — русскому, он уже преподавал, бассейн три раза в неделю, умеренный феминизм, бег трусцой, холестерину — бой, необременительный радикальный либерализм, парти у соседей по субботам, диета, летс гоу ту фак? — ОК, летс гоу, — добрая американская университетская пара, так и жили

мирно — вплоть до развода, который случился после одного из первых ее вояжей в Россию в начале семидесятых. Дело в том, что в Москве у нее произошел роман — нет, не с членом Союза советских писателей, даже не с филологом из университета имени Ломоносова, но с американским дипломатом, и этот роман аукнулся, подозреваю, в нашей с ней судьбе: как водится, дипломат работал на ЦРУ и привлек ее к светской жизни спецслужб, пару раз засветил на встречах с советскими коллегами, куда по протоколу каждая сторона является парюю. Так вот, о ее разводе: она получила славный дом в маленьком университетском городке: фотографии дома я видел много раз — американцы обожают фотографировать свою недвижимость и показывать изображения окружающим, будто собираются сейчас же ее продать, — Анна в садике, Анна у гаража и Анна на крылечке, Анна на фоне аккуратно стриженного газона, но больше других мне понравилась одна, где она стояла на веранде, на холодке, мечтательно вдыхая запах деревьев и кутая плечи в тонкую оренбургскую шаль, что я ей подарил. Но все это — позже, пока же мы сидим вечер за вечером на моей кухне в Бибирево, пьем Старку — отчего-то это стал наш напиток — и говорим. Ее русский курс литературы XVIII века я дополняю посильно: скажем сообщением о том, что Фон Визин женился восемнадцати лет на богатой старухе восьмидесяти с тем, чтобы выплатить карточные долги старшего брата. Или пересказываю ей только что написанную статью о ВДНХ: она знает что-то о тоталитарном искусстве, но имени Фрэзера никогда не слышала. Однако, ни старка, конечно, ни биография Фонвизина, ни моя любовь — ничто не мог-

ло мне объяснить все возрастающую ее тягу, так мне заметную, пить темный яд русских горестей, безалаберности и величия, скуки пространств, медлительности времени, неюта городов и первобытного животного тепла. Бесспорно, Россия способна на время отвлечь западного человека от хайдеггеровского неюта бытия-в-мире, к тому же Анна жила между двумя континентами, сама была бродягой и странницей, и, должно быть, пыталась залечивать свою неприкаянность русским наркозом, — так или иначе, — когда нас с ней выгнали из ее номера в ленинградской Астории среди ночи на улицу — там были и швейцары, и дежурные, и стертые хари, неотличимые одна от другой, — и я, не будучи трезв, конечно, расплакался от бессилия и стыда за свою страну, она сделала мне предложение...

Остановимся на минуту, я переведу дух. Не знаю, описать ли, вернувшись назад, как по ночам мы покупали в Бибирево водку у цыган и использовали милицмейские машины в качестве такси — и то и другое вызывало у Анны изумление и восторг, — или, коли прыгнул вперед на два месяца, припомнить склизкий ленинградский декабрьский денек, хлипкий и смутный цвет неба и воды, когда мы, бездомные и промокшие бродили по призрачному городу, и никто не хотел нам подсказать расположение консульства — ни дворник-ассириец, бородатый и кривоглазый, ни пьяная молодая еврейка, выкрикивавшая что-то из Страх и трепета, ни молодой негодяй с серьгой в левом ухе и жирными русыми волосами, забранными в косицу, пытавшийся нам продать Данте в отличном состоянии ин фолио, — и Данте нас особенно рассмешил, хоть и над этим знаком

впору было призадуматься. Мы были беспечны, глупо, влюбленно и пьяно, но даже в беспечности этой, если оглянуться, была торопливость и судорожность, — еще бы, опасность была разлита в сыром воздухе, и мы глотали ее как старку, и спешили, спешили, спешили будто могли от опасности убежать — убежать здесь, в сердце одной из двух великих держав, которым принадлежали и которые несколько десятков лет только и пеклись, как бы им ловчее одна другую уничтожить. Тем естественнее прозвучало ее предложение среди мгливой бесприютной ночи, когда мы укрылись от ветра под глыбой темного Исаакиевского собора: предложение себя и свободы. Я мог бы увидеть в этом лишь женское движение, материнское желание приютить обиженного, христианский жест пригреть гонимого, но сколь ни был я пьян и спутан, я мигом понял, что она именно предлагает мне быть ее мужем и отныне защищаться вместе.

Мне тем более легко вспоминать пустяки и подробности нашего питерского рождественского вояжа, обернувшегося — так вышло — нашей помолвкой, хоть со времени знакомства не прошло и двух месяцев, что после я имел возможность мысленно бродить с ней сколько угодно по промозглому городу в пропитанных влагою дневных сумерках — вдоль и поперек, — и в те полгода, что прошли до ее следующего появления в Москве, и потом, когда она окончательно исчезла из России, но не из моей жизни, ибо тогда, в июле, визу ей дали в последний раз. Конечно, нам следовало бы вести себя по-партизански, лелея свой дерзновенный план: мне бы тут же исчезнуть, чем что ни ночь спать с ней в одной постели в ее номере, давая взятки дежурным, ей

бы — напустить на себя строгость, чем целоваться со мною за праздничным, общим с ее студентами столом в вечер Рождества — под шампанское, под недоуменными взглядами приставленной к группе стукачки-переводчицы, под треск бенгальского огня. Но если бы мы не были упоены друг другом, не праздновали бы так шумно свое воссоединение, не умели наслаждаться именно этой своей свободой в столь неподходящих, на взгляд, обстоятельствах, то были бы не мы, не два дилетанта, как писала она мне потом под впечатлением, видимо, Окуджавы, но пара угрюмых заговорщиков, втайне вынашивающих индивидуальный проект детанта. Мы же чувствовали себя пред Богом безгрешными, как дети, как два очаровательных юных педераста, Шурочка и Николка, — они что-то рисовали или сочиняли, вполне необязательное, — которые вызвались на другой день быть нашими ленинградскими гидами.

Причудливая это была компания: мы с Анной, которая в своей шубке на фоне грязного и разваливавшегося на глазах некогда помпезного города казалась герцогиней, и двое херувимов, один маленький, в зипунчике, тесно подпоясанном ярким кушаком, и в кирзовых сапогах, другой высокий и чернявый, в длиннополом черном развевающемся пальто, взятом не иначе как на помойке. Мы путешествовали вдоль каналов, полных ржавой дребезжащей воды, мы бродили по вонючим рынкам, заглядывали в богатые, пышащие свечами и позолотой церкви, исследовали некогда парадные подъезды с чудом сохранившимися причудами в стиле арт-нуво, слонялись мимо складов и пакгаузов, — Бог знает отчего, но все нам казалось восхитительным, —

пока не пришли на незабвенный вокзал, откуда некогда шла первая в России железнодорожная ветка в Царское село. Мы уселись в ресторане под царским витражом напротив невероятной, резного дуба, огромной буфетной стойки — говорят, ее давно уже нет на свете, — пили дрянную водку, закусывая сосисками со жгучей горчицей и задубелыми бутербродами с тоненькими корочками красной икры, и были счастливы. Помнишь, Анна, этот день? К вечеру, когда в зале зажгли огромную люстру, мы решили всей компанией ехать танцевать в валютный бар гостиницы Ленинградская. На привокзальной площади мы обнаружили кабинки для мгновенного фотографирования — в Америке это называется фотомат; мы с тобой втиснулись вдвоем, опустили монету в прорезь, и, кто знает, может быть в твоей вашингтонской квартире, в доме за углом от улицы Адамс Морган, завалялись где-нибудь эти фотографии, получив которые, мы хохотали до слез: два тесно прижатых одно к другому, скошенных, раздутых по диагонали, пьяных счастливых лица — твое и мое...

...На ВДНХ я повел Анну светлым июльским днем, дня через три после ее приезда. На сей раз ее поселили в гостинице Космос — так, что окна номера смотрели прямо на парадные выставочные ворота, на могучую колхозную чету, водруженную на аттик многопролетной тяжелой арки и вздымающую на вытянутых руках возвращенный и сжатый ею могучий золотой сноп спелой пшеницы. Я взялся объяснять Анне, чем отличается плодородие от чадородия, как она засмеялась и тронула меня за рукав. — Стоп, — сказала она, — я, кажется, вспомнила: ты говорил об этом на кухне, когда мы пили

старку, ты писал об этом...

Я тоже вспомнил, как о том же болтал в кафе — в тот миг, когда увидел ее впервые.

Мы ступили под арку, мы вошли в наглухо огороженное от внешнего мира массивным и высоким чугунным забором пространство, озаренное и согретое сейчас ярким летним светом. И прямо на пороге наши начальные дни стали возвращаться к нам. Ведь предыдущие трое суток мы толком и не были вместе, замороженные неисчислимыми фантазиями, бюрократическими препонами и формальностями, что воздвигло государство на пути своего гражданина к иностранному браку. Все три дня мы как бы не могли взять нужную ноту, потерянную во время разлуки, и я чувствовал себя в той точке сюжета, когда внезапно перестает писаться. Мрачные мысли одолевали меня, на то были причины. Когда я встречал Анну в Шереметьево, ее около двух часов продержали на таможне, не попросив даже открыть чемодан, но все связываясь по телефону с неведомым начальством: букет завял в потных руках, когда она показалась наконец из каких-то приграничных глубин, потерявших мистику, как прискучившая сказка, но не ставших доступнее от этого, маленькая, толкающая перед собой через пустой зал два своих больших чемодана. Это был дурной знак. Настолько дурной, что даже в грубости швейцара, загораживавшего мне вход в ее отель, мне чудилось не простое вымогательство, но заговор государства против нас с ней.

Несколько успокоило то, что документы у нас таки приняли, были даже любезны, дали не то поздравительный талон, не то квитанцию на получение что ли

постельного белья, — свадьба была назначена на конец ноября. И сейчас, демонстрируя Анне фонтан Дружба народов, я утверждал, что это — не аллегория интернациональной любви пятнадцати социалистических республик, но — наш свадебный хоровод.

Мы пошли, держась за руки, по этим просторам, демонстрирующим перманентный триумф вечно голодного народа. Я указал ей на парящего в вышине громадного быка — он темнел своим мощным корпусом, нависая над выставкой, в контражуре, на фоне разгоревшегося солнца, — быка Аписа, бога плодородия, в которого, быть может, превратилась душа нашей фараонской страны. Мы шли мимо восточных беседок и мавританских дворцов, мимо стального эллинга для дирижаблей, дорические колонны сменялись ионическими и коринфскими, — в той же последовательности, что в Колизее, — распутившиеся пальмы были огорожены легкими аркадами, на клумбах застыли самолеты, дикий виноград оплетал бесконечный горельеф, на котором счастливые фигуры пейзаж были пересыпаны изображением овощей: корнеплодов, огурцов и помидоров; пройдя сквозь помпейский перистиль, мы оказались в яблоневои саду, разросшемся так буйно, что почти укрыл бронзовый памятник — скромную фигуру в человеческий рост в шляпе и с палкой; по лужайке клевера с расставленными по ней ульями мы приблизились к еще двум изваяниям — жеребцу Квадрату и жеребцу Символу, как было сказано на табличках, и вдруг обнаружили поодаль скульптурную группу: колхозница указывала пограничнику куда-то вдаль, потревоженная, видимо, признаками далекой опасности, а тот присел к



своему пограничному псу на одно колено; пес тоже протягивал в даль свою чуткую умную морду. — Зачем все это? — прошептала испуганная и очарованная Анна. Что ж, ей, человеку Запада, вся эта лужа киселя могла казаться лишь сном пьяного кондитера, но мне-то было ясно, что этот пряничный славянский рай — мое Лукоморье, а верный пограничник с верным псом стережет его рубежи. Зачем? Я повлек ее через огромную пустую площадь — она едва поспевала, — и мы достигли сердца этой очарованной страны.

— Вот, — сказал я.

В громадном бассейне, отделанном цветным полированным мрамором, плавали бронзовые рыбы и бронзовые птицы; все они тянули головы в одну сторону, непрерывно выплевывая из бронзовых клювов искрящиеся струи воды. — Смотри туда, — показал я Анне в самый центр. Там, переливаясь и сверкая, застыл в нечеловеческом вечном напряжении раскрытый каменный цветок. — Что? — прошептала Анна. Она не понимала, что из этого места, любовно украшенного цветными сплавами редких металлов и тысячью разноцветных камней — из этого именно священного места и рождается окружавшее нас чудовищное невыносимое изобилье. — Это вагина, — сказал я. — Иони. Вульва, Пизда.

Увы, она ничего не понимала. — Пизда? — переспросила она. — Кто есть пизда?

Мне пришлось опять схватить ее за руку и повлечь за собой. Ветви раздвинулись. Посреди большого пруда, широко разбрасывая вокруг себя воду — семя земли, — высился светящийся золотом, набухший каждой

своей чешуйкой, с расширенными от напряжения порами, из которых сочилась блистающая на солнце влага, непобедимо торчащий колос, а вокруг него, у его подножья, безмятежно катались на цветных лодочках парни и девушки, девушки и парни. — Хуй, — сказала пораженная Анна, — это есть хуй!

Она новыми глазами смотрела на все что ни есть вокруг. Там, во внешнем мире, шла классовая борьба, холодная война, там на улицах пахло пылью и пережженным бензином, здесь же освящал своим светом и семенем эту дивную страну неутомимо извергающий фалос, и вокруг воцарилось как будто вечное лето, каменный цветок жадно вбирал эту влагу, вели нескончаемый брачный хоровод пятнадцать девушек в национальных нарядах, парил бык в вышине, и счастливая пара истуканов являла всему миру свое возвращенное на колхозных полях чадо, и бессонный пограничник бессонно охранял рубежи нашего счастья.

Тут же давали и пиво. Я взял нам по кружке. Женщины в легких платьях с загорелыми шеями и спинами прикрывали ладонями глаза от солнца, и в меру шалили дети. Трудно было говорить в виду такого благолепия, но если мы и говорили о чем-нибудь тогда, итальянская графиня и американский профессор-русист по совместительству, и я, русский литератор, то, конечно же, о России, и Анна признавала, полагаю, что понять эту страну можно никак не умом, но любовью и только одной любовью.

Проголодавшись, мы отправились обедать в ресторан под названием, разумеется, Золотой колос. В тот год вышел запрет на продажу алкоголя в местах отдыха

трудящихся, так что мне пришлось взять бутылку водки и бутылку шампанского у швейцара, который с готовностью продал их — из-под полы. В ресторане мы были одни. Официант с удовольствием перелил водку в графин, сам открыл шампанское и наполнил наши бокалы. Мы чокнулись, не боясь сглазить, что, конечно же, было самонадеянно. Мы молча пили за то, что все будет хорошо, мы поженимся, а там уж — как Бог даст: отчего-то к нам вернулась уверенность, что мы живем в свободном мире и вольны делать все, что нам заблагорассудится.

Нам дали икры, и балыка, и холодного напитка клюквенного оттенка, пахнувшего затхло, но с плавающими в нем несколькими кубиками льда. Ближе к вечеру появился оркестр и заиграл без предупреждения модную в то время в России итальянскую песню *Феличита*. А поскольку мы уже крепко выпили, то нам стало неумно весело и мы принялись целоваться здесь же, шептаться о любви и, кажется, читать русские стихи. Мы решили победить во что бы то ни стало.

Из ресторана вышли далеко после заката. Растительность благоухала, на чистом небе светила чистая луна. Я прикинул, что чем идти через всю выставку к центральному входу — мы могли бы перелезть через ограду ботанического сада, а там выйти на дорогу с другой стороны, благо оттуда до моей кровати в Бибирево было значительно ближе.

Ограда была в сотне метров, в тылу ресторанного здания. Она неприступно тяжелела в темноте, и будь мы потрезвее — задача показалась бы неразрешимой. Но мы были пьяны, счастливы и влюблены, шальная си-

ла подняла нас, оторвав от земли, за несколько минут, карабкаясь по мокрым от вечерней росы прутьям, мы перемахнули преграду. Мы вырвались из одного рая, но тут же обнаружили, что оказались в другом.

Вокруг нас там и там торчали то бразильские пальмы, перевитые африканскими лианами, то мексиканские кактусы, то азиатские саксаулы. Возле каждого растения белела в темноте табличка, и если наклониться, то можно было разобрать надписи по-латыни. Диковинный лес, казалось, обступил нас, но вдруг впереди засветилась под луной дивная поляночка с уютной копной вполне русского сена посреди. Не долго думая, мы упали на эту копну, набросившись друг на друга, будто только сейчас встретились. Мы расстегивали друг на друге одежду, мы облизали губы друг друга, мы прижимались один к другому грудью и так истово, будто лишь в этот вечер вернулись — я к ней, она ко мне. Мы готовились слиться в том порыве редкого счастья, когда не думают о способах, а только рвутся принять и проникнуть до полного растворения, как оба ощутили точно какое-то движение земли, сгущение воздуха и тревогу, как при надвигающейся грозе.

Я приподнялся и отчетливо услышал приближающийся многоголосый лай. Звук накатывал очень быстро, и все лучше были различимы отдельные голоса собак, их голодное урчание, рык, подвывание, азартный утробный стон гона, казалось — даже кипение слюны, хлопьями падающей с их морд. Что за добычу они загоняли?

Чудилось, что стая летит прямо на нас, было страшно, мы невольно прижались друг к другу. Прошло

несколько длинных мгновений, пока за решеткой сада мы ни увидели силуэты больших овчарок — точно таких, как на скульптуре с пограничником, — с топотом, скрежетом и рыком мчавшихся мимо.

Как-то сразу все стихло, опять стали слышны лишь насекомые, которыми был полон сад. — А если бы мы были там? — спросила Анна. Я тоже раздумывал об этом. — Нас никто не предупредил, — вскрикнула она с характерным, американским подъемом голоса в конце фразы. — Как это по-русски?.. они могли есть нас!

Это было верно. Они могли нас есть. Если бы мы не перелезли через ограду — овчарки растерзали бы нас. Что ж, таковы законы этого рая, мне ли было не знать, но на этот раз нам удалось уйти от погони.

— Факинг шит, — выругалась Анна, и ее светлые глаза были совсем черными. В темноте ее обнаженная фигурка и впрямь напоминала белого ферзя. Она потрянула кудрявой головой: — Факинг шит! — Для убедительности она ткнула в сено кулачком. Маленькая раздетая женщина — она пыталась идти чуждому ей миру наперерез. И тут я увидел в первый раз — в первый раз и в последний, — как на ее глазах и ее щеках показались слезы.

## НАВИГАЦИЯ В ФИОРДЕ

Это была со всех сторон образцовая супружеская пара. Он — офицер флота одной из стран Атлантического блока, крепко сложенный викинг лет пятидесяти, с мужественного лица которого не сходили загар, румянец и доброжелательная улыбка; она — эффектная дама по ту сторону сорока, в меру экстравагантная, с крепкими большими белыми зубами, всегда оживленная. И его улыбка, и ее живость, впрочем, были им положены по протоколу, поскольку муж состоял военным атташе при посольстве своей страны, а жена состояла при муже хозяйкой на широкую ногу поставленного дома в Сад-Сэм, как называли западные дипы и коры большое здание на Садово-Самотечной, где жили иностранцы только высокого разбора. Свои дипломатические обязанности они вполне освоили, он неплохо выучился по-русски, они что ни вечер тусовались то у американского посла, то на приемах в Кремле; она тоже училась русскому и игре на флейте; по утрам они парюю бегали на Цветном бульваре, поддерживая форму, но оба предпочитали общество чуть побогемнее, чем замороченный инструкциями, замкнутый на себя и мрачноватый московский дипломатический корпус, каким он только и мог быть в самом центре империи зла, — это было как раз рейгановское время, — а потому мечтали обзавестись русскими друзьями, что ж, даже в сталинских пьесах военные моряки чуть что — принимались ухаживать за цыганками, а женились на театральных артистках. Я попался в их сети, когда они их только-только раскинули — в салоне все той же Вики, на оче-

редном вернисаже. Едва мы оказались с ними перед одной и той же картиной, жена, включив на большие обороты отлаженный механизм общения, пристала ко мне — не художник ли я? Честно говоря, в тот момент мне было совершенно на нее наплевать. А эта механическая любезность светских западных дам, с которыми ровным счетом не о чем говорить и которые смотрят на тебя как на забавную фольклорную зверушку, вообще вызывала во мне злобу, и я огрызнулся: мол, нет, я писатель, причем не печатающийся. И повернулся, чтобы ее покинуть. — Как твое имя? — спросила она меня вслед. Я назвал. — А я — Ульрика, — сказала она, протянула руку, обнажив свои большие зубы, и попыталась произнести мою чересчур сложную для нее фамилию по слогам. Меня позабавило ее прилежание; она же потом говорила, что была удивлена моим нежеланием с нею знакомиться, — все русские в салоне и вне его только и мечтали сблизиться с богатыми иностранцами; к тому ж, вспоминала она позже, я ей дал ясно понять, что она — западная дура, это ее выражение, и ни черта не понимает. Помимо всего прочего, полагаю, она не привыкла, как и любая яркая дама — она была хороша, — чтобы мужчины оставались равнодушны к ее красоте, но, увы, она была не в моем вкусе, чересчур явно в ее фигуре угадывалась спортивная мускулированность, тогда как в матронах этого возраста, на мой взгляд, хороша как раз известная расплывчатость и волнующая прелесть чуть перезревшего порока; к тому ж, на ее открытом лице была написана честность и провинциальная склонность к порывам, а в глазах мерцало что-то девическое; она была как бы вся напоказ, и эта

поджарая определенность и подрагивающая чуткость — но без истерики, — я знаю, бывают свойственны породистым, хорошим и глубоким женщинам, но если бы я и был в то время склонен к флирту, то нуждался бы, пожалуй, в чем-нибудь попроще и покрепче, и менее газированном... Я был очень удивлен, когда через пару недель получил от нее приглашение на ужин.

Пригласила она меня сама. Не письменно, но позвонив по телефону, — номер, как потом выяснилось, она взяла у Вики. Звонила она — я это сразу же понял — из автомата, и тогда я не знал — случайность ли это или трезвая предосторожность. Она явно читала текст по бумажке, не надеясь на свой устный русский: потом я узнал, что у нее всегда было все заранее продумано и подготовлено. Из ее декламации можно было понять, что я должен ждать тогда-то и во столько-то у Колонного зала. — Окей, — сказал я, и мы повесили трубки. Если это был флирт, то для меня весьма диковинный — ни одна из известных мне отечественных леди не назначила бы первое свидание своему объекту за ужином в кругу собственной семьи. Впрочем, решил я, наверняка это будет не ужин, но многолюдный фуршет.

Помню, выйдя из здания КГБ на Дзержинского, я шел пешком до Пушкинской, поскольку у меня в запасе было минут сорок, — моя судьба оказалась не настолько игривой, чтобы с точностью подгадать не только день, но и час. Ждать пришлось недолго: из притормозившего БМВ, невероятно шикарного по тем московским временам, махнул рукой знакомый корреспондент по имени Вильгельм, просто Виля, как все его называли, и я солнечным зайчиком шмыгнул на заднее сидение,



— на переднем сидела его жена, которую я видел впервые, на первый взгляд вполне бесцветная. Вскоре мы, не тормозя у будки охраны, закатили во двор Сад-Сэма, и какое-то давнее воспоминание, карибского аромата, чуть плеснуло в моей душе.

Супруги встретили нас у дверей, одетые, как на пикник; вообще, в воздухе квартиры, как сказал бы Гоголь, было расположение мы запросто, и в этом сказывалось много деликатности — хозяева могли предвидеть, что их советские гости не смогут быть одеты блэк тай, так что сразу же отбросили всякую официальность. Пока хозяйка демонстрировала нам фотографии своих троих детей — и это при ее-то фигуре, — показывала квартиру и угощала аперитивом, хозяин быстро смотался на улицу и извлек оттуда еще одну русскую, художницу-примитивистку, выловленную ими тоже у Зики, фигурой похожую на полено, лицом на совковую лопату, в каком-то народном наряде, я сказал бы — чухонском, хоть и слаб в этнографии. Эсмотр апартаментов был бегло повторен, но план экскурсии на этот раз расширился за счет посещения спальни хозяев, где гостям была предъявлена необъятного размера кровать со сказочным матрасом, полным воды, и мне не пришло в голову тогда же спросить — морской ли? Быть может, где-то был и мотор, с помощью которого муж мог имитировать родную стихию и задавать нужное число штормовых баллов; но скорее, матрас был механическим, и штиль в нем приходилось преодолевать усилиями самих гребцов. Так или иначе, этот матрас использовался хозяевами при его демонстрации посетителями для добродушного самоподтрунивания, что создавало ат-

мосферу радушия вне протокола, направляло курс предстоящего вечера в сторону симпатичной фамильярности.

Ужин был накрыт на кухне — по-домашнему. За столом нас оказалось — четыре пары, присоединились еще и чета норвежцев, живших в этом же доме, он был рослым моряком, она — рослой, кажется, скульпторшей, и их я тоже однажды видел у Вики. Возле каждого прибора лежала записочка с именем гостя, согласно своей карточки я оказался по правую руку хозяйки, сидевшей во главе стола; хозяин расположился напротив жены, и справа от него была устроена чухонка, так что мы с ней образовали своего рода светскую диагональ. Норвежец — его звали Хуго — и Виля, обменявшись женами, сидели по разным берегам. Меню восхитило бесхитростностью: помимо закусок, черной икры и норвежской селедки под Абсолют, было лишь одно горячее блюдо — жареная рыба с пюре и зеленой стручковой фасолью, причем с красным вином; ни сыра, ни шампанского не давали, а кофе и фрукты — после перехода в гостиную и к лонг-дринку. Моя наивность простиралась тогда так далеко, что я решил, будто и это, домашнее, меню сочинено специально для нас, советских, из соображений не оскорблять их привычной роскошью нашу русскую гордую ни-шетуг — мне в голову не могло прийти, что для богатых западных людей этот ужин — вполне параден.

За столом ровным счетом ничего не произошло, не считая мимолетного эпизода под ним — в самом финале, когда рыба была почти съедена. Виля оказался образцовым холериком, говорил без устали, ругал на чем

свет КГБ, который то и дело прокалывал колеса его машины, а заодно ругал и советскую власть, позже он добился своего, был выслан на самом пороге перестройки, что весьма помогло его карьере. Он говорил по-русски совершенно свободно, остальным приходилось трусить по мере возможности за ним: викинг великодушно ухаживал за примитивисткой, она что-то благодарно кудахтала, и вставлял в монолог Вили направляющие реплики; Ульрика не без лукавства кокетничала со мной, изредка в штормовом море русского языка цепляясь за обломки английского. Я же был чинен до поры, вспоминая приемы этикета, которым некогда успела обучить меня покойная бабушка, но, полагая это необходимым в ответ на красноречивые взгляды хозяйки, в какой-то момент протянул левую руку и сжал под столом ее колено. К моему удивлению, она дернула ногой, будто я ее укусил, будто вовсе ничего такого не ожидала; но улыбка ее не дрогнула; она лишь слегка дотронулась кончиками пальцев до моего предплечья и незаметно покачала головой...

Собственно, этим касанием все и должно было бы закончиться. Супруги уехали на летние каникулы на юг Франции, — этот вояж обсуждался за тем же ужином, я — купил полуразрушенную избу в верховьях Волги за бесценок и просидел в ней затворником до самой половины сентября, ловил рыбу в озере, ходил по грибы, пил самогон с мужиками и пытался сочинять, но дальше нескольких страниц не двинулся. Это должна была быть не новая книга, но реконструкция той, утраченной, почти готовой, и я долго не мог смириться с тем, что восстановить потерянный текст — невозможно, что это —

прожитая глава, и последняя ее страница перевернута. Я вспоминал украденный на вокзале хэмингуэевский чемодан, сгоревшие Мертвые души, потерянную спяну авоську с новой рукописью автора Москва-Петушки, а там и пущенные в распыл сами писательские жизни, тонны архивов, сгоревших и погибших на Лубянке, рухнувшее величие Рима, наконец, — ничто не приносило утешения: недописанный роман и половина пьески, оказалось, были мне дороже, чем вся Александрийская библиотека.

Шел самый пустой период моей жизни: меня ждала пустая Москва и пустая квартира; был пуст мой письменный стол и пусты карманы; и пусты были разговоры по оставшимся телефонным номерам. Дверца клетки захлопнулась, казалось, навсегда. Могло ли мне прийти в голову, что звонок Ульрики в начале октября — не только начало новой связи, но, быть может, весть об избавлении.

Она волновалась. Она не могла найти никаких русских слов. Она, как и в первый раз, читала по заготовленной бумажке. Я вслушивался в ее невозможный русский, от волнения сделавшийся и вовсе неразборчивым. Кажется, она хотела сказать, что ей нужно меня увидеть. Это слово она повторила несколько раз — по слогам. Я сказал, что к ее услугам. По буквам она продиктовала мне время и место. Признаюсь, я был нисколько удивлен: трудно было измыслить хоть какую-нибудь более или менее правдоподобную причину, по какой ей было нужно меня повидать. Теряясь в догадках, я мог предположить только, что она разделяет некоторые обязанности мужа. Муж, конечно, был шпион, но какой

прок мог бы я принести НАТО. Я не знал ни единого стратегического секрета, разве что мог поделиться своими наблюдениями о я а — строениях в среде творческой интеллигенции. Мой доклад был бы лапидарен, настроение хуевое. Мельком подумал я и о том, что КГБ не понравятся мои конспиративные встречи с женой западного разведчика, однако — как взлетели бы мои писательские акции, придумай мне контора шпионскую биографию.

Свидание было назначено на скамейке в саду Аквариум; вокруг порхали листья, пахло прелью; Ульрика, извинившись за свой язык, попросила дать ей время высказаться и ее не перебивать. Держа на коленях русский разговорник и словарь, она понесла такую ахинею, какой я не слышал никогда ни до, ни после ни от одной женщины в здравом уме. Но она не походила на безумицу, хоть ее речь и была вполне фантастична. Суть дела сводилась вот к чему: они с Отто любят друг друга уже четверть века, результатом чего стали трое детей, два мальчика и девочка, не поленилась уточнить она, впрочем, это было мне уже известно; ни он ни она никогда один другому не изменяли, что так же точно, как то, что мы сидим в Москве поздним бабьим летом; они глубоко привязаны друг к Другу и один другого уважают, и это место было дважды сверено по словарю; но сейчас дети выросли, младшая уже почти взрослая, а Москва для нее, Ульрики, как начало новой жизни; и в этом втором рождении она как бы все начинает заново, и уже решено, что ты — то есть я — будешь моим вторым мужчиной. Я даже не успел покоробиться столь откровенной протестантской рациональностью, не смог

воспротивиться всеми своими Русскими чувствами, так захватывающ был ее дальнейший рассказ. Оказалось, это решение — не принципиальное, тут, кажется, все давно было решено, но касательно именно меня — да-лось ей очень нелегко: с одной стороны во время того ужина я прошел испытание, с другой — у них не приня-то класть хозяйке под столом руку на колено; к тому же, кажется, я слишком много пью для интеллектуала, ка-ким по ее мнению являюсь; но с третьей стороны, я очень симпатичен Отто, а значит она сможет часто при-глашать меня на парти... Она все листала словарь, лаза-ла в разговорник, меня она не злила, но забавляла. Она так неподдельно волновалась, что было невозможно заподозрить во всем этом розыгрыш. Она с полнейшим простодушием пыталась донести в деталях свое труд-ное решение, и при этом ей в голову не приходило, что я могу отказаться от предложенной мне почетной и от-ветственной роли в столь образцово-добропорядочной дамской жизни: по-видимому, пожиманием колени я уже сказал с ее точки зрения свое последнее слово. Ес-тественно, мне пришла в голову циничная мысль, что все делается с ведома и одобрения мужа, а весь этот бред нужен лишь для того, чтобы держать меня в узде и не позволить компрометировать семейство неосторож-ными движениями. Но и в этом не было никакого резон-на, легенда о безгрешности брака казалась вполне лишней в этом случае, да и красные пятна, которыми она то и дело покрывалась перед тем как побледнеть, никак не напоминали обычное кокетство... Впрочем, в будущем мне неоднократно приходилось стыдиться собственной подозрительности, столь сосредоточенно и

жертвенно относилась она к своей второй любви.

Конечно, я был легкомыслен: ее серьезность поначалу представлялась мне разве что пикантной, сама ситуация — увлекательно рискованной. Быть в те годы любовником жены западного военного атташе было и опасно, и экстравагантно, для западных спецслужб должно было быть понятным, что я внедрен в постель их сотрудника не иначе как КГБ; само же КГБ должно было быть поставленным в тупик — попытаться завербовать меня, обшмонанного, выброшенного из литературной жизни и, в довершение, их стараниями оставшегося холостым, социально обиженного, говоря их языком, было бы довольно глупо; они ведь должны были бы мне открыть хоть отчасти технологию шпионского дела — не отлова дураков-литераторов, что, как говаривал мой тогдашний приятель Попов, все равно, что мучить котов, — настоящего шпионского дела, причем с полными гарантиями, что я рано или поздно распишу всю историю где-нибудь в *Нью-Йорк Таймс*; но и пресекать эту связь им было, надо полагать, не с руки, скорее, они должны были бы ее лелеять, постепенно собирая и на нее, а заодно и на меня компромат; а заодно на ее мужа и блок НАТО в целом... Так или иначе, мы скрепили тут же на лавочке под лысеющими кронами наш договор долгим поцелуем в губы, что заменило наши подписи под любовным планом Ульрики и моим на него согласием.

Но — все развивалось не так быстро, не так быстро. Нашлось множество обстоятельств — знакомых мне лишь из французских романов про полуторавековой давности адюльтеры, — препятствующих немедленной

ратификации. Ульрика вела напряженный дипломатический образ жизни, и, хотя я бывал приглашаем теперь на приемы в их Дом, нам удавалось лишь пожать украдкой друг другу руки где-нибудь в прихожей. По уикэндам муж, как водится, не служил, и уикэнды тоже выпадали. В будние дни с десяти до четырех в их квартире находилась горничная от Управления обслуживания дипкорпуса, лицемерная пролетарка, ухитрявшаяся изображать смиренность в духе жены Версилова. О том, чтобы отъехать ко мне в Бибирево, даже и разговора не было: из дома Уль-рика отлучалась лишь за покупками, и ее всегда возил на автомобиле другой кагебешник из УПДК — шофер-весельчак Коля, мужик лет сорока и поклонник, почему-то, полузапрещенной тогда группы Машина времени. Лишь изредка она могла отпроситься у своего сопровождения, сославшись на то, что хочет прогуляться, причем выполняла всегда один и тот же маршрут — до Центрального рынка и назад, и на рынке — видимо в качестве камуфляжа — закупалось огромное количество цветов и экзотических кавказских фруктов, каких на боны в специальном шопе для дипломатов на Краснопресненской, кажется, не продавали. Целый месяц Центральный рынок и прилегающая к нему территория и были местом наших свиданий тет-а-тет, и — ясное дело — эта рыночная платоника скоро стала мне поперек горла. Представьте: толпа ханыг на заплыванных ступенях, уголовные рожи торговцев краденой черной икрой, тюбетейки, ушанки и кепки, очень много золотых зубов и загара не по сезону, и — с распущенными каштановыми волосами, на голову выше самого рослого чучмека, то ли в ярчайшей развевающейся юб-



ке, то ли в ярких брючках по щиколотку, непременно в кроссовках, каких никогда не видела и прикинутая московская молодежь, с рюкзаком ярко-желтой кожи за плечами, набитым хурмой, айвой, алычей, гранатами, с грандиозным букетом черно-бордовых роз, со сверкающей улыбкой во всю свою великолепную пасть идет она ко мне навстречу по затоптанному подталому грязному снегу, полному окурков и семечной чешуи, и толпа раздается в стороны, а мне — мне делается зябко в своей курточке под алчными взглядами соотечественников...

Все разрешилось гротескным образом — первым подходящим для воссоединения днем оказалось Седьмое ноября. Отто приветствовал на трибуне парад на Красной площади, горничная и мой тезка-шофер получили увольнительные. После увертюры на диване в гостиной — с рюмкой *Реми Мартен*, когда по телевизору было видно, что сухопутные войска сменились первыми танковыми колоннами, мы добрались-таки до постели. Стихия в матрасе, кажется, уже чуть волновалась. Как только я лег, то ощутил приятную качку. Мы оба кончили, когда танки еще шли. Ульрика оказалась приучена к незатейливому походному сексу, если б не вода за бортом — я сказал бы: от инфантерии. После финиша ей нужно было передохнуть, как мужчине. Это было по-своему удобно, во всяком случае перед продолжением я успел пропустить еще пару рюмок и выкурить сигарету *Кэмел*, что для меня, как для любого советского аборигена в те годы, было большой удачей. К началу следующего тура по Красной площади шли уже ракетные войска. Меня отвлекали звуки бравурного марша и торже-

ственно-карамельный голос диктора, но она, казалось, ничего не слышала и кончила на этот раз весьма бурно, со скрежетом зубов и утробным рычанием, и лицо ее скорчилось в некрасивой гримасе, будто она готовилась разрыдаться; мне же удалось сэкономить заряд, иначе и не знаю — получилось бы у меня в третий раз. Когда на экране показалась самая здоровая ракета с закругленной, как у пениса, головой, мы кончили вместе, и над площадью прокатилось переваливающееся, как волна над нами, ура. Она открыла глаза и посмотрела на меня мутным взором, как спросонья. Потом прошептала что-то на своем языке, я пожаловался, что не понимаю, хоть все отлично понял: она удивлялась самой себе, что так у нее, оказывается, может получаться и еще с кем-то, кроме Отто. Я попытался сострить что-то в том духе, что такой уж сегодня день — демонстрации советской мощи, совет паувэр, но она эту шутку, мне показалось, пропустила мимо ушей. Начинался парад физкультурников, и мне самое время было сваливать. Она вывела меня на улицу, бесстрашно подарив кагебешнику в будке улыбку и цветок. Охранник поклонился ей — совсем по-японски; меня восхитило ее самообладание, сам-то я не чаял, когда исчезну из его поля зрения. Она все не выпускала мою руку и заглядывала в глаза, но я торопился уйти — только теперь я почувствовал, как был напряжен в ее дипломатической квартире под дулами неминуемых микрофонов, под колпаком родного ГБ...

Чего я ожидал меньше всего, так это вызова на Цветной бульвар уже на следующее утро. Оказалось, Отто отправился на обед с сослуживцами-мужчинами, и

день у Ульрики был свободен. Мы встретились на Трубной, мы устроились в довольно уютной пиццерии в подвальчике, мне было предложено кьянти — да-да, тогда в пиццериях можно было выпить кьянти, — и я выдул подряд два бокала, так как успел вечером вчерашнего дня попить с приятелями.

— Зачем ты так вчера сказать — со-вьет-скья сыла? — прочла она по приготовленной бумажке, и фанатичный огонек замерцал в глубине ее широко раскрытых глаз. Я поперхнулся итальянским вином и уставился на нее. А потом, не в силах сдержаться, расхохотался. Она сказала с болью и тихо: те-бье было смешно? И ее глаза стали, к моему ужасу, заполняться слезами по самые края, — точно так медленно и неотвратно наполнилось, я вспомнил, влагою ее лоно, в котором я еще не знал ни одного рифа. — Я лю-бью тье-бя, — сказала она печально, опустила веки и стряхнула слезинку из угла глаза. — Ты не понимать...

Она была права — я не совсем понимать. Конечно, полюбила она прежде всего этот изгиб собственной биографии, которую она выстраивала по точнейшим чертежам. Заодно, быть может, была влюблена в меня, допускаю. Но у меня в голове не укладывалось, как может сочетаться в женщине такая холодная дьявольская предусмотрительность во всем, что касается обмана собственного мужа, и такая полнейшая невинность во всем, что касается любовника. Приемы становились все чаще. На этих вечеринках все прибывало русских друзей — по-видимому, Ульрика заботилась, чтобы мне было легче в этой советской каше затеряться. Я тогда ничего не понимал в виски, запивал бурбон скотчем, нахлобы-

ставшись — ухаживал за дамами, что заставляло Ульрику тихо страдать и посылать мне исподлобья скорбные взгляды, в глубине которых маячил знакомый мне огонек.

Она принялась прибегать ко многим и разнообразным ухищрениям, чтобы сплавить днем горничную, отослать шофера, а самой — в очередной раз пуститься в плавание в своем матрасе со мною в качестве экипажа. По вечерам я все чаще толкался среди парадно одетых гостей у них в доме — меня приглашали теперь на все вечеринки, которые организовывались то и дело. Случалось, окно между ее постелью и началом очередного приема было столь незначительным, что, соскочив с матраса, я выкатывался на мороз и околачивался поблизости от Сад-Сэма, предвкушая выпивку и ожидая, когда Отто, наконец, выйдет встречать гостей к патрульной будке и протянет мне руку с полнейшей благожелательностью.

Регулярны стали и свидания в пиццерии. Мы там сделались завсегдатаями. Случалось, вызовы бывали срочные, тогда Ульрика платила за мое такси. Как правило срочность обуславливалась приемом накануне. То я скоренько сдружился с рыжей англичанкой, женой летчика с Бритиш Эр-лайнс — она все чокалась со мной, потом мы пили на брудершафт, потом фотографировались в обнимку, пока муж не схватил ее за руку и не потащил домой; то, осоловев, я хлопнул по заду какую-то блестящую даму, а когда она повернулась — показал пальцем на хозяйского пуделя, — дама оказалась женой первого секретаря какого-то посольства; наконец, как-то я явился на особенно торжественный и пышный

прием с девицей из советских евреек-эмигранток, приехавшей в Москву проведать маму и направленную ко мне Осей в приложение к письму из Нью-Йорка; одета она была совершенно сногшибательно: в красный костюм с мини-юбкой, в чулки-паутинки и в красную же широкополую шляпу, короче, со всем брайтонбичевским шиком, и мужчины-дипломаты за ее спиной задорно перемигивались...

Сидя за одним и тем же столиком в углу, Ульрика поджидала меня, уж приготовив словарь, разговорник, блокнот и набор фломастеров. Кьянти тоже меня ждало. При моем появлении официант, как по неслышной команде, тащил горячую пиццу с шампиньонами. Дождавшись, пока я подкреплюсь, Ульрика с самым серьезным и сосредоточенным видом открывала блокнот. Страницы в нем были уже загодя разрисованы крупными печатными русскими литерами. Рисунки эти изображали вопросы риторического характера, но снабженные вопросительными знаками. Причем каждый пункт был выписан своим цветом. Скажем, красным было начертано: ты много пить? Не дожидаясь моей реакции, Ульрика вписывала сама черным: да, — полагаю, при ее рачительности во всем, она таким образом параллельно осваивала русскую грамоту. Далее зеленым: твой хуй не стоять? Тут уж я удивлялся: разве? Она не обращала на мои протесты внимания и вписывала черным аккуратно: будет. В другой раз вопросы могли звучать чуть иначе, скажем, синим: ты совсем без контроль? — Ну, почему же, — вальяжно говорил я, потягивая кьянти, чтобы поддержать игру. И тут Ульрика отбрасывала фломастер и, жестикулируя, доказывала мне

уже устно, что если бы я был с *контроль*, то с какой бы стати флиртовал с посторонней замужней англичанкой — к тому же рыжей и из гражданской авиации. Помнится, однажды она, прискучив чистописанием, подготовила для меня целую картину — что-то раскрашенное, в манере Кукрыниксов. Подпись красным фломастером гласила: Николай любить девочки красный свет... Господи, мне бы столько усидчивости и прилежания!

Я вошел в роль и чувствовал себя законченной блядью. Не знаю, согласятся ли со мною профессионалки, но как дилетант заявляю — отчасти это приятное чувство. Вряд ли я любил ее. Нет, не десять разделявших нас лет мне мешало. Просто я не мог расслабиться: из-за положения ее мужа, из-за собственного положения. Ведь играть ва-банк — вовсе не то же самое, что махнуть на все рукой. Но она мне нравилась, очень нравилась. Она была чудачкой, она плохо понимала, что творится вокруг. Она была западная дура, причем протестантской выделки. Она была уверена, что упорство и труд — все перетрут, не знаю, какая пословица на ее языке соответствует этой. Но не в России, нет, не в России...

Отто повадился отъезжать в командировки. Впрочем, иногда на два-три дня улетала на родину и она сама, полагаю, в качестве дипкурьера с донесениями мужа — то ли об организации праздничных парадов, то ли о настроениях русских друзей. Во время его отлучек я, случалось, оставался в плаванье на матрасе и на ночь, бывало — проводил в ее доме и по двое суток, коли был выходной или удавалось в будний день отделаться от служанки, шофера и учителя флейты. Я расхаживал

по сверкающему паркету в толстых вязаных гольфах и в халате, выкуривал по несколько пачек *Кэмела*, в кладовке, где алкоголь всех видов занимал широченные полки от пола до потолка, я выбирал, что приглянется, наладился запивать *Блэк-энд-Вайт* английским жасминовым чаем, на десерт брал какого-нибудь шартреза, но это был не тот шартрез, что мы пили на вечеринках с девками в годы моей юности — по два рубля, но — в богатом каком-то флаконе, цвета нежнейшего, а не ядовитого, и такого же вкуса; проводя таким образом часы и часы, я впадал, разумеется, в дурман, и облако этого кайфа было и плотнее, и ароматнее, чем после анаши; мозг туманился, тело принималось вибрировать, и когда я ложился в очередной раз на плавучее наше ложе, ее широко разверстое лоно, тоже подрагивающее и влажное, представлялось мне морским гротом, куда я вплываю, покачиваясь на прекрасной лодке; казалось, это и есть заколдованный вход в тот, иной вожделенный мир, и, проникая туда глубже и глубже, я впрямь избавляюсь от наложенных на меня злых колдовских чар...

Разумеется, ей приходилось и встречать, и провожать меня, чтобы провести мимо охранника. Стражам этим она делала бесконечные подарки, но и без того этим служакам и в голову не пришло бы доносить о моих визитах не начальству, как положено, но ее мужу. Из собственных поездок она привозила подарки и мне, причем целыми чемоданами. Незаметно оказалось, что гардероб мой значительно обновлен, что все, — от трусов и носков до брючек, маечек, рубашечек — надетое на мне — подарено ею, и я как бы упакован в ее оберт-

ку, а значит по элементарным законам магии — принадлежу ей и сам. Более того, все чаще она прикатывала на такси в мою берлогу на краю Москвы, и там стали появляться какие-то невиданные мною до этого баночки и тюбики, содержавшие средства для мытья и натирки, освежители воздуха, салфеточки, скатерки, цветные свечечки в деревянных подсвечниках, покрывало на кровать, а там и комплекты, тоже разноцветного, постельного белья, и мое убогое жилище уже не напоминало холостое убежище российского непечатающегося и пьющего литератора, но скорее гнездышко жиголопедераста. Доставлялись, разумеется, и продукты, хорошая выпивка не переводилась, и случались подчас и вовсе семейные вечера, когда я отстукивал на машинке какие-нибудь рецензии для внутреннего пользования в одном толстом журнале, а она тут же, нацепив очки, что-то штопала и пришивала — при всей ее шикарности она была, в сущности, очень домашняя и, кажется, хорошая хозяйка. Как уж она устраивалась с Отто — я перестал интересоваться, здесь на нее можно было целиком положиться, но вела она себя смело настолько, что мы стали вместе бывать в ресторанах, пару раз даже — играли на бегах, причем ей везло, а мне — нисколько, потом — у моих друзей, кое-кто из которых стали и ее друзьями и тоже принялись мелькать на ее раутах. Постепенно сложилась натуральная жизнь втроем — с той поправкой лишь, что одна сторона пребывала в неведении или делала вид, что пребывала. Однажды, зайдя к ним на ланч, по приглашению Отто, разумеется, которому не с кем было выпить пива и посмотреть очередную серию про Джеймса Бонда — он любил все бру-



тальное и глуповатое, — я обнаружил на хозяине точно такую же рубашку, как она мне подарила недавно. Потом я поинтересовался у нее, что бы было, если б и я пришел в такой же, — но она ни на секунду не смутилась: рубашка финского производства, я сам мог бы купить ее в магазине. Разумеется, она знала, что Отто в советском магазине отродясь не бывал.

КГБ из моей жизни как ветром сдуло. Она отправляла на Запад мои письма, она привозила мне тюки запрещенных книжек — двух-трех из них, найденных на обыске, могло бы хватить годика на три лесоповала, так что я, прочитывая их скоренько, распылял, бегая по улицам, как подпольщик, но никто не гнался за мною — казалось, наша связь дает какой-то иммунитет. Менялись сезоны. Подражая им, принялись меняться генеральные секретари. Мы привыкли друг к другу. Увы, дело шло к концу пребывания Отто на его посту, и, устроившись у меня на коленях, Ульрика все чаще повторяла, что советский мир изменится, и мы еще встретимся, встретимся. Но оба понимали, что надеяться на это — чистое прекраснодушие, и, говоря это, она лишь утешает себя и меня.

Однажды случилось дурацкое приключение. Отто был в очередной отлучке, днем Ульрика была занята, вечером — был занят я, и, похоже, в тот день нам было не увидеться. Я отправился в какую-то компанию западных корреспондентов, где на пари осушил бутылку *Джек Даниэл*, ноль-семь, и привязался к какой-то девице — оказалось тоже англичанке, далась им наша Россия. Впрочем, она объяснила, что у них, в Англии, со дня на день будет революция, а она не любит революций, у

нас же, в России, революция уже была, — западная наивность, — и она любит Россию. Короче, как и все русисты — она была русисткой — и эта оказалось чеколдыкнутой. Я вызвался ее провожать. Разумеется, была она страшненькой, коренастой, в очках, все как полагается. Еще она объяснила, когда мы ловили такси, что любит Россию так, что ей пришлось наняться бэби-ситером в семью английских дипломатов. И потому проживает она в Сад-Сэм, знаю ли я, что такое Сад-Сэм? — О, йес, — успокоил я ее и заявил, что провожу до самого подъезда.

— Но — я не мочь инвайт тебя ту май плейс, — заволновалась англичанка, мигом забыв русский. И я успокоил ее, что ее плейс меня совершенно не интересует. Такси ввезло нас во двор, и я приветливо помахал охраннику с заднего сидения.

Было за полночь. Подъезд Ульрики вымер. Я был здорово пьян, но долго прислушивался, стоя у нее под дверью. Трогательный зеленый веночек висел под номером квартиры — должно быть, такие же охраняли некогда дома ее предков от вторжения нечистой силы. Все было глухо, я нажал кнопку звонка. Она открыла очень быстро, как будто стояла под дверью и тоже прислушивалась. Какое-то мгновение она чужим взглядом смотрела мне в лицо. Потом молча отступила назад, я переступил порог, она быстро закрыла дверь и долго запирала ее — на замки, на цепочку. И опять повернулась ко мне, глядя сумрачно и странно. — Почему ты здесь? — спросила она. И я почувствовал себя нашкодившим мальчиком. Я ответил ей что-то в том смысле, что ЧК выписало мне к ней постоянный пропуск. Она

как-то бессильно взглянула на меня, опустила руки и заплакала. Она плакала так, как плачут усталые взрослые женщины. И вдруг я догадался, мигом прозрев, что шутка моя была для нее столь жестока, потому что никогда, никогда за все время нашей любви она не могла быть во мне вполне уверена. Это буквально потрясло меня, я стал сбивчиво молоть что-то про англичанку, твердил: нет, Уля, нет, посмотри на меня, разве я... разве я, — и сам заревел в три ручья.

Когда я получил чашку английского чая и полфлакона Джек Даниэл, я чуть успокоился. Она тихо сидела рядом со мной в гостиной, на том диване, где встречала меня впервые наедине, и продолжала тихо плакать. Она смотрела на меня, не отрываясь, сквозь слезы, без улыбки, как смотрят женщины, потеряв и вернув. Иногда она подносила ладонь к моему лицу. Кажется, глаза ее еще были мокры, когда мы поплыли в темноте на нашем матрасе. Лицо мое обдувал балтийский ветер. Я погружался в нее все глубже и глубже. Фиорд был узок в горловине, но постепенно расширялся. Было темно, и берегов было не видно. Под утро я вышел на палубу. Я не впервые плыл по морю, но то были совсем другие моря; пахнул иначе ветер, и новым было небо над головой.

Ближе к восьми утра показались первые огоньки. Я не мог поверить, что это происходит со мной. И не было способа убедиться, что я сам, во плоти, а не одна лишь моя тень, плыву в навсегда запретном для меня мире, и им меня уж не достать. По лицу текло, и капли были почти пресными. Качки не чувствовалось, хоть море не было спокойным. Светало, и все отчетливее проступали

контуры чужих берегов. Родных чужих берегов, как мне  
тогда казалось.

Из книги «Далее везде»  
(2002)

## ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ И НЕБА

Тогда этот город отнюдь не лежал в руинах.

Тогда это был мандариново-мимозный земной рай, мечта озябшего жителя северной метрополии: чайки, колыхающиеся в струях воздуха, идущих от студенистой морской воды; женщины как одна в черных чулках и с опущенными долу глазами; кучки бездельников, прохаживающихся по набережной или галдящих на гортанном наречии, сгрудившись в одном месте; старики на скамейках вдоль променада.

Я был юн. Впрочем, тогда я сказал бы о себе, что — молод, но теперь понимаю, что был юн, очень юн. Поселился в гостинице окнами на море, мечтая опровергнуть расхожее мнение, что в этой кавказской провинции нравы чопорны и ни в какую не найти веселую и нестрогую девушку, скрасившую бы командированному дни постоя. И ждал аудиенции у одного полоумного профессора-математика, ради интервью с которым и был прислан редакцией.

Сначала математик отказывался меня принять. и не помню уж какие мои аргументы растопили лед. Потом жена профессора объявила по телефону, что у ее мужа неважно с сердцем, и придется отложить встречу на пару дней. Ночами я сражался в своем интуристовском номере с полчищами мышей. гирляндами висевших на пакете с недоеденным хачапури и оглушительно шуршавших целлофаном в темноте. Днем бродяжничал, шатался по набережной, пил кофе по-турецки,— тогда здесь было много кофеен, где к обжигающему густому кофе подавали ледяную минеральную воду,— и совер-

шал познавательные экскурсии — в ботанический сад или в обезьяний питомник. Заключены в питомнике были, кажется, шимпанзе, и сквозь изгородь привольного вольера можно было наблюдать, сколь мудро устроена обезьянья половая жизнь: косматому клыкастому самцу принадлежало большинство самок, боровшихся за право выбрать из шевелюры повелителя блох. Когда жители разрушили свой прелестный город с применением современного стрелкового оружия, обезьяны в смятении разбежались по окрестным горам, и, надо полагать, были неприятно поражены полным отсутствием там банановых зарослей.

Профессор некогда жил в столице, занимался небесной механикой и вошел как-то в моду, опубликовав статью в популярной газете о том, что, мол, если и есть кроме нас обитатели в космосе, то, чем тратить на сверх совершенные радиотелескопы, следует здесь, на земле искать их следы. Шаг был неосторожный; профессора немедленно принялись сживать со свету,— предмет не был освещен в партийных документах, но о статье много говорили, причем какой-то польский еженедельник объявил автора человеком года. Математик был характера кабинетного и нервного, из запуганного поколения, вдобавок еврей. Он — это выяснилось потом из наших с ним бесед, столь проникся профессор ко мне доверием — когда-то учился в хедере и свои умозаключения строил во многом на знании древних книг, утверждая, к примеру, что описание Иезекиилем херувимской колесницы — ни что иное, как свидетельство очевидца полетов над Халдейским царством инопланетных кораблей.

Здесь стоит напомнить, что, во-первых, в те профессорские годы все сведения о летающих неопознанных предметах считались стратегическими и были засекречены, во-вторых, по иным причинам, но был засекречен и Ветхий Завет, а заодно и сам Господь Бог. Так что, пусть и из самых благих познавательноматериалистических намерений, математик нарушил сразу два табу, которые, если вдуматься, сводились к одному всеобщему запрету на заглядывание без допуска — в запредельное. Так или иначе, но профессор, с ужасом осознав свое падение, получил инфаркт, а, оправившись, бежал без оглядки и по рекомендации врачей осел в этом южном городе, где стал заведовать вычислительным центром в местном исследовательском институте. О пришельцах из космоса, про которых, по его убеждению, он так много знал, математик никогда и ни с кем больше не говорил, и не в этом ли причина, что, наконец, предчувствуя, что жить осталось недолго, разговорился со мной, человеком молодым и случайным.

Впрочем, это произошло не сразу, далеко не сразу, и прежде чем я переступил порог его дома, прошло немало дней безделья — в раздумьях о доступных девушках и иных обитаемых мирах. Как это и бывает обычно — разом густо, разом пусто — я познакомился и с ним, и с вполне подходящей девицей в один и тот же день, с малым промежутком. С утра профессорша сообщила мне, что ее муж согласен меня принять после обеда. В три часа я отправился на окраину, где располагался институтский городок, у меня было время осмотреть научные корпуса и прикинуть, что пленные немецкие уче-



ные, ради которых некогда и была организована шарашка, в общем-то неплохо устроились,— и ровно в четыре позвонил в дверь.

Профессорша оказалась пожилой и благообразной русской женщиной типа сельской учительницы, какими их показывали в поздне соцреалистических фильмах, сам же профессор — очень сухим человечком лет шестидесяти, всклокоченным и дерганым ровно так, как полагается сумасшедшему провидцу. Встретил он меня сумрачно — в затененном кабинете. донельзя просто обставленном. Он делал вид, что спешит, но куда ему было торопиться — прозябающему в неизвестности на окраине империи, общающемуся, кроме жены, разве что с внеземным разумом. Перво-наперво он решил огорошить меня заявлением, что на мои вопросы он, быть может, и сочтет возможным ответить, но публиковать интервью запрещает решительно. По-видимому, он все-таки был скорее мечтателем, чем логиком... Мы приступили; поначалу он был сдержан и сух, отвечал кратко; я не спешил выведывать у него тайное знание, но для начала прошелся по его биографии. Мы галопом проскочили годы обучения на математическом факультете, на рысях — работу в Абастуманской обсерватории, затем иноходью прошли по аспирантскому сроку в Московском университете, и тут я почувствовал, что собеседник, перейдя на шаг, несколько оживился, коли можно назвать оживлением сморкание, сбивчивость речи и почти неприметный тик, что стал подергивать его левое веко. Мы приближались к теме.

Надо заметить, в те годы я был знатоком и популяризатором проблемы связи с внеземным интеллектом,

— не ведал еще, что в далеком будущем переключусь на земную и грешную светскую жизнь,— и вовсе не потому, что был таким уж Джордано Бруно, энтузиастом идеи множественности обитаемых миров. Просто за эксплуатацию темы, к которой я относился с легкомысленным репортерским цинизмом, мне платили достаточно легкие деньги. Так вот, дойдя до переломного пункта биографии профессора, я стал осторожно вырывать на нужную дорожку, заворковав о регулярных радиосигналах из Крабовидной туманности, пока он не перебил меня, сказав глухо:

—Это все они... взяли у меня.

Я обрадовался, нащупав почву, по которой можно было твердо двинуться дальше: профессор был смертельно обижен тем, что у него украли приоритет. Это был сулящий успех поворот дела: именно восстановлением справедливости мы с ним теперь и займемся. Я, ластясь, льстя и блефуя, подкидывал ему вопросы об известных обрывах в земной эволюции, о такой же возможности по теории вероятности рождения живой клетки из питательного прабульона, как если бы шимпанзе, нажимающий наобум кнопки пишущей машинки — персональных компьютеров тогда еще не было,— за миллион лет написал роман Льва Толстого, пусть даже Воскресение,— и всякую прочую дребедень из арсенала лекторов общества Знание, но профессор глядел благосклонно, глаз его замер, он любовался молодым пылом познания, и я догадался, что детей у него с учительницей скорее всего не было. Постепенно капельки речи, что он выцеживал из полузубого рта, превратились в непрерывную струйку, и он поведал, что, конеч-

но, только предположение о существовании внеземных более развитых цивилизаций позволяет снять все проблемы теории возникновения разумной жизни на Земле: и если признать, что такие высоко цивилизованные миры существуют в далеком космосе, то крайне глупо пытаться нащупать их присутствие с помощью земной примитивной техники, ибо в своем развитии их технологии обогнали наши на много поколений. Тут я решил сомничать и чуть было все не погубил, радостно согласившись, что все неуспехи такого рода попыток не доказывают отсутствия в космосе иных цивилизаций, как смешно говорить, что Бога нет, на том лишь основании, что космонавты не встречали на своих путях ангелов... Он запнулся и замолчал. Я тут же спохватился, вспомнив про его хедер и последующую материалистическую перековку. Он пробормотал что-то в том духе, что, помимо идеалистических заблуждений, древние книги содержат много ценного. Ведь из них можно почерпнуть свидетельства людей, живших на Земле и тысячу, и много тысяч лет до нас. Я тут же припомнил ему его знаменитую давнюю статью, — В той статье не содержалось и доли.., — пробормотал он, дверь отворилась, протяжно заскрипев. Вошла профессорша и сказала, обращаясь к мужу, назвав его при этом трогательным детским именем, что беседа длится уже слишком долго.

— Ему нельзя нервничать и переутомляться, — сказала она мне. Профессор было хотел протестовать, но в мягкости жена таилась сила приказа, и он протянул мне руку. — Приходите завтра, в это же время...

Я сидел в приморском ресторанчике, где приладилась обедать, смотрел на воду и волны, на неуклюжих

раскормленных чаек, на набережную, постепенно заполнявшуюся праздным южным людом, среди которого было много приезжих, потому что здешние санатории и пансионаты работали круглый год; прихлебывая Псоу, я прикидывал, что удастся мне выудить из профессора завтра. За соседним столиком две девчухи лет по девятнадцати гадали на кофе, переворачивая свои пустые чашки, потом принимаясь вертеть их так и эдак. Одна была явно абригентского разлива, черная, смуглая и носатая, другая внешности скорее южно-русской, тоже смуглая и темноволосая, но с носиком вздернутым, глазами не карими — ореховыми с прозеленью, и гораздо более бойкая, чем пугливая ее товарка. Нет, что ни говори, но если считать нашу цивилизацию недостаточно развитой, то следовало бы предположить, что высоко за границей этого уже золотившегося сейчас синего неба, есть еще более восхитительный уголок, где может одиноко сидеть молодой юноша за бокалом белого вина, пытаюсь заглянуть в глаза милой соседки; она крутит в пальцах пустую кофейную чашечку, угадывая в таинственных письменах, оставленных на фарфоровых стенках черной кофейной гущей, знаки своей грядущей бесхитростной судьбы, и тоже изредка лукаво поглядывает на него.

Я пересел за их столик. Солнце, готовясь зайти за море, красило барашки на воде и закрученную прядь, вившуюся от ее уха с розовеющей в мочке дырочкой вдоль всей смуглой шеи до самой ключицы, обтянутой кожей в светлых пупырышках. Ее подругу звали неразборчиво, ее саму, кажется, — Галина, хоть можно подставить и любое другое русское имя, пусть будет Гали-

на, потому что в самом этом имени тоже есть что-то смуглое и манящее. Говорила она на южно-русском наречии и хрипловато, что и понятно — она беспрерывно курила дрянные болгарские сигареты без фильтра *Джебел*, впрочем, других в этом городе и не продавали.

Они предложили предсказать и мою судьбу. Будущее мое на дне кофейной чашки нарисовалось бледно: неразборчивая дама, печально завернутая в темный плащ, а к ней в придачу — дальняя дорога. Я потребовал проверки и с этой целью взял кулачок Галины, вместе с чашкой, в свою ладонь. Веранду продувало; одета она была лишь в болониевую курточку поверх байковой в цветок кофты, напоминающей детство, и ее красный кулачок был холоден. Я повернул чашку к себе и заглянул в ее глаза. Выяснилось, что они уже не учатся — работают, причем — вот совпадение — в этом самом обезьяньем питомнике, и я не стал спрашивать — кем; заодно выплыло, что подруга ее — местная гречанка, и что я из Москвы, но живу не на турбазе — в гостинице, и мое одинокое окно смотрит сейчас прямо на нас. Мне нравился галинин грубый говор, шершавая кожа, простонародный смех; мы сговорились встретиться завтра на этом же месте, и я понадеялся, что она сообразит не брать с собой свою коллегу по обезьяннику...

На другой день профессор был более приветлив, и улыбчива профессорова жена. В кабинет был подан кофе и орехи в запекшемся виноградном соке, причем хозяину явно желалось, чтобы московский гость не ведал этого кавказского лакомства, и я доставил ему наивное удовольствие, подделав испуганное изумление. Хотя знал, конечно, что называется оно — чурчхела. Кажется,

в мое отсутствие они сговорились прощупать меня на предмет усыновления, и, пользуясь благоприятной конъюнктурой, я тут же пришпорил беседу, начав с того места, на котором нас оборвали. Профессор кофе не пил, цедил минеральную воду; помолчав и решившись, он протянул руку, извлек из стола толстенную папку и положил на нее ладонь. — Это, мой дорогой, и есть моя книга, а та статья — лишь облегченное предисловие.

Он принялся говорить, и чудные вещи открывались мне. Кажется, профессор видел всю нашу Землю наглядно, как глобус. Он перепархивал с широты на широту, вертел земной шарик эдак и так и вольно парил во времени, мешая в одно сакральные тексты тибетских лам, свидетельства конкистадоров, пророчества Вед, откровения суфиев и слова Заратустры, иллюстрируя свою речь картинками с острова Пасхи, знаменитыми картами — турецкого адмирала с контурами Америки, начертанной до Колумба, и обратной стороны Луны, составленной до Белки и Стрелки; в его речи смешались устрашения египетской Книги мертвых, отголоски учения о Дзен и предупреждения Израилю больших и малых пророков; промелькнул Белый Диск на черном фоне, изображенный на пальмовом листе, подмигнул птичий глазок Инь и слился опять неразрывно с Янь, донесся гул мистерии в Доме Летучей Мыши; он закашлялся, и кашель его напоминал клекот Симурга, принялся задыхаться. — Они бывали здесь не раз и не два... Быть может, они и сейчас рядом. Ведь они — это мы...

Вбежала жена с каплями; я отклонялся, едва в силах говорить, раздавленный грузом древних пророчеств и утаенных свидетельств, чувствуя дыхание невидимо

присутствующего. Они это мы,— о чем он говорил? Я осознавал себя песчинкой, бессмысленной и неразумной, оброненной кем-то случайно, исчезающе малой рядом с непомерной и непроницаемой загадкой вселенского бытия. Но на свидание поспел как раз вовремя.

Они, чего я и опасался, опять явились парюю, впрочем, это было сейчас неважно. Боже, как милы мне были теперь простые люди с несмущенной невинной душой. Плоды дерзаний не рожают в них скорбь, и зуд проникновения в космические тайны не омрачает мирной радости тихих земных удовольствий, По этому поводу я, чуть пресыщенный тревогами о неисповедимости судеб мироздания, заказал побольше белого вина.

Конечно, заметную обремененность мою многим знанием девицы истолковали на свой лад. Выпивали они со вкусом, особенно моя Галина: обхватывала стакан всей ладонью и опрокидывала в себя разом треть содержимого. Ее вульгарность была простодушна, грубость не скрывала провинциальной юной застенчивости. Я не стал делиться с ними тайной многонаселенности Вселенной; ухаживал за той и этой, по мере сил вселяя в них дух здоровой конкуренции. Впрочем, в этой паре столь явно лидировала Галина, что наверняка товарке заведомо была отведена роль ассистентки, и мое ровно излучаемое на обеих внимание лишь нарушало субординацию, заставляя премьершу томиться и ревновать. Впрочем, проявлялось у нее это бесхитростно и беззлобно, лишь блестяли глаза, выступал и гас румянец, беспокойно терлись одна о другую колени, она много и сбивчиво говорила. Попала она в этот причуд-

ливый город лишь пару лет назад из-под Ростова — с матерью, потому что отца никогда не было, а оба старших брата сидели сейчас по тюрьмам. Конечно, она уже немало повидала на свете за свой краткий век, вот только не встречала еще, по-видимому, московских журналистов. Я спросил, за что сидят братья, и она тут же, хватанув еще из стакана, пропела хриповато частушку, как и положено на деревне девке, бойкостью прельщающей милёнка:

*Ох, тюрьма, тюрьма, тюрьма,  
Ступенечка протертая,  
Забла меня статья  
Сто сорок четвертая...*

Мне и теперь эти четыре строки кажутся пронзительными: образ безысходной предопределенности судьбы — тюремная лестница; само этой лестницы изображение — в первой строке троекратным повторением, в последней — трехзначным числительным; наконец, единственное число во второй строке, ощутимо передающее тюремную тоску, когда стоит перед глазами вот эта ступенечка, твоими подошвами зашарпанная... Впрочем, я не знал, за что карает статья 144 уголовного кодекса, а спрашивать было не с руки.

Подпив, мы вышли на набережную, уже оживленную в этот предзакатный час. Гречанка все жалась к Галине, избегая встречаться взглядами с согражданами, та же в свою очередь повисла на моей руке, цепко держась за рукав пиджака. Она болтала и хихикала, дергала мою руку вниз, не жеманясь, стараясь обратить на себя внимание, и, когда я другой рукой сжал ее мокрую ладонь, она так и впилась в нее маленькими хваткими



пальцами. Мы были так заняты этой любовной прелюдией, что едва не наступили на длинную жирную крысу. Я отпрянул. Обе мои спутницы рассмеялись:

— Да их здесь столько... Мы привычные.

Крыса, между тем, даже не прибавила шагу; хвост степенно волочился по асфальту, и прохожие уступали дорогу. Она пересекла тротуар и неспешно скрылась в тени зарослей акации. Мне почудилось, что не к добру, коли крысы считают себя в городе хозяевами. Но в те годы до гибели было еще далеко...

Утром я первым делом выяснил, кто дежурит в этот день по этажу. Оказалось, на смену заступила крашеная перекисью водорода блондинка лет сорока, коротконогая, пузатая и грудастая, явно почитаемая среди обитателей отеля, по преимуществу торговцев цветами-фруктами, привлекательной, потому что русская, белая, гостиничная, а значит доступная. Я и сам, грешным делом, как-то перед сном, явившись из ресторана, с ней кокетничал, но не помнил уже ее имени, кажется .— Марина Степановна; мне запало лишь: она утверждала не без гонора, что — полячка, и что я гожусь ей в сыновья, что не было большим преувеличением. Нынче я преподнес ей букет мимозы и шоколадку, опрометчиво полагая, что заслужу таким способом в случае чего послабления сурового гостиничного режима, и был приятно удивлен, с каким исполненным кокетства достоинством снисходительно она приняла мои скромные дары. Потом я позвонил профессору. Его жена сказала, что ночью у ее мужа был приступ, но он хочет меня видеть. И взяла обещание, что визит мой не продлится больше десяти минут...

Он сидел в том же кресле, но нынче даже при зашторенных окнах было заметно, как он бледен. Его большой лоб в слабом полусвете отдавал синевой. Ощущалось и в голосе, и в движениях, что он действительно очень слаб. — Дорогой мой, — прошептал он, — вчера я не успел сказать вам самого важного. То, что мы с вами сидит друг напротив друга, и доказывает, что они здесь... — Он говорил так тихо и болезненно, что на мгновение мне показалось — он не совсем в себе. Но говорил он вполне связно:

— То, что я скажу вам сейчас, не знает никто. И никто не должен знать.

Это было похоже на посвящение. Я, страшись оказаться в положении обладателя проклятого Лунного камня и вместе — дрожа от любопытства, забормотал нечто в роде торжественной клятвы, но вышло как-то неубедительно, по-пионерски. — Что ж, иначе вы ничего не поймете, — пробормотал он, преодолевая последние сомнения. — Представьте себе цивилизацию, на многие тысячелетия обогнавшую нашу. Представьте, что при обследовании своей космической ойкумены предстатели ее попадают на Землю, где есть среда с подходящими для развития жизни условиями. Что они оставили бы на нашей планете?

Профессор прижал платок ко рту, чтобы за дверью не было слышно, как он задыхается. Действительно, что могли бы они оставить на нашей планете нам в назидаание? Циклопические плиты, из которых сложен таинственный африканский ракетодром? Исполинские пирамиды, воздвигнуть которые невозможно и при нынешней технике? Или последствия какой-то гигантской ката-

строфы — до Чернобыля тогда еще было далеко, — отправившей на океанское дно Атлантиду? Будто слыша мои короткие мысли, он помахал у меня перед носом платком. — Они оставили бы — компьютер, — прохрипел он. — Простейший компьютер, вот что они должны были оставить...

Что ж, в этом была своя логика. Конечно, они оставили бы свое оборудование, определенным образом запрограммированное.

— А каким должен быть компьютер не в третьем или пятом, но в сотом поколении? Он должен быть — живым, — прошептал он совсем тихо. — Что такое простейший живой компьютер, — продолжал он, уже с посвистом и скрипом. — как не живая клетка? — Восторг приближения к истине судорогой прошел по его белому лицу. Я тоже был в восхищении и придвинулся к нему вплотную.

— Какова программа, заложенная в живой клетке?

— Генетический код, — прошептал я, холодея от собственной догадливости.

— Именно, — отозвался он. — генетический код. Не мы были первыми на Земле, но — они...

На этот раз я пришел в ресторан намного раньше и, усевшись за столик поближе к воде, следил за полетом чаек, запрограммированным некогда внеземным разумом. Теперь я знал, что в одной единственной клеточке, оброненной некогда пришельцами, содержался в проекте и официант с черной скобкой усов, и вино, что я ему заказал, и я сам — носитель последнего знания обо всем этом, знания, что принял из рук угасающего на

глазах учителя. Чжоу снится бабочка, или бабочке снится Чжоу?

Конечно, она и на этот раз не смогла отклеиться от гречанки, но была напудрена до синевы, жирные черные запятыя шли от углов глаз к вискам, а крупные губы были обведены коричневым карандашом и — пурпурного цвета. Нынче она тщательно готовилась, что я и оценил. У меня тоже был готов план — я пригласил их к себе в гости. Они сомневались — пропустят ли их в гостиницу. Несколько успокоенные моими заверениями, что до одиннадцати они в праве находиться там. а значит — будут в безопасности. девочки приободрились. Похоже, жуткое для благонравных обывательниц восточного города это приключение было им даже по вкусу, хотя товарка Галины явно дрейфила. Я набрал сумку вина, мандаринов и сыра. Когда мы поднялись на мой этаж, за столом дежурной никого не было, — лишь желтый букетик в банке из-под майонеза, — но все равно мои посетительницы пугливо озирались и жались к стенке. стакан в номере был только один, мы пили из него по очереди. На этот раз в ход пошло вино сладкое и крепленое, и вскоре девчушки захмелели. Подруга тоже принялась курить *Джебел* — от нервного напряжения они хохотали невпопад, потом принялись рассказывать страшные истории, как одна у них на работе на другую навела порчу, насыпав той иголок в сумку, как соседку муж, приревновав и отходив ремнем, привязал к кровати, а сам ушел в ночную смену, и та ужалила змея, как, наконец, одна всё гуляла с отдыхающими, пока муж у нее сидел, а потом ее нашли мертвой — захлебнулась. Потому что она... это... ну, сосала у мужи-

ков, а никто не знал... От этой дивной дичи веяло таинственной и темной свежестью жизни, жизни, которой я вовсе не знал, но которую тоже ведь должны были предусмотреть далекие пришельцы.

Когда еще выпили, они, как водится запели, Сперва не слишком складные срамные частушки:

*Голубые, голубые,  
Голубые небеса...  
Сперва яйца упали,  
А потом и колбаса.*

И здесь следует заметить, что под верхним вторым неприличным смыслом таился первый земной смысл — а именно всегдашняя советская мечта о продовольствии, полученном без карточек и талонов, прямо из рук Господа, подобно манне небесной. Потом они исполнили нечто и вовсе охальное, балладу своего рода; участвовали в ней евангельские персонажи, а снижение достигалось невероятным обилием матерщины, и даже меня, некрещеного, проняло это циническое богохульство. Но удивило пуще другого — стремление заглушить в себе пьяным ухарством страх перед силами над нами...

Солировала, конечно, моя Галина, вторая лишь смешно ойкала, подражая русской плясовой манере, потом стала икать и незаметно поскуливать. По щекам ее покатались слезы, а в ответ на наши расспросы она лишь что-то бормотала на своем языке.

— Это с ней завсегда, если выпьет, — сказала Галина.

— Отчего?

— Не знаю, Что никто не любит, должно быть...

Я вызвался проводить раскисшую подружку на улицу, а Галине велел сидеть тихо. Когда я вел свою гостью мимо дежурной, та, смерив нас взглядом, лишь брезгливо ухмыльнулась: пора, пора освобождать...

Была та минута южного вечера, когда свет небесный вот-вот погаснет, и сразу станут видны звезды. Я вернулся быстро, потому что дикарка наотрез отказалась идти со мной по улице даже до остановки автобуса. Ни она сама, ни я, разумеется, не знал, как сложится ее греческая жизнь. Уже в разгар войны ее семья доберется-таки до исторической родины, где она будет служить горничной в маленьком отеле в городке у Эгейского моря,— на *паралии*. В ее напарницу влюбится заезжий немец и однажды пригласит обеих прокатиться на лодке. Они отъедут далеко в море и услышат, что в церкви, на крыше которой — гнездо аистов, звонят колокола. Ей будет очень одиноко, она удивится, как далеко по воде катится колокольный звон и поверит в Бога...

Галина сидела на кровати, завернувшись в одеяло, туфли ее валялись на полу. Я подсел и обнял, ища ее губы. Она мычала и отворачивалась, но когда мой рот лег на ее рот, пылко подалась ко мне и крепко обняла руками за шею. Целоваться она не умела, мне стоило труда просунуть язык между её сжатых зубов. От нее пахло вовсе не обезьянами, чего я опасался, но — черемуховым свежим мылом, земляничной помадой, глаженным бельем, и даже портвейн с табаком не могли перебить этот домашний букет. Несмотря на то, что она была так юна, грудь у нее оказалась мягкой, теплой, с большими твердыми сосками. Грудь тоже умилила меня. Теплыми

были и ее широкие ладони, когда она прижимала к себе мою голову, — теплыми и сухими. А крупные колени, которые она, вздрагивая, то и дело сводила, и мне приходилось опять мягко их раздвигать, были прохладными и влажными отчего-то. И очень горячим оказалось лоно, когда я в нее вошел, наконец.

Раздался стук в дверь. Я натянул штаны, прикрыл дверь в комнату, спросил — кто там. — Откройте, откройте, — узнал я голос дежурной. Понимая, что мы попались, я повернул в замочной скважине ключ, стыдясь своего еще не остывшего естества, предательски выпиравшего, как мне чудилось. Но вместо разъяренной хранительницы строгих гостиничных нравов я увидел давешнюю тетку — раскрасневшейся, шиньон на бок, с дрожащими губами, — Помогите хоть кто-нибудь...

Пока мы шли по коридору к ее конторке, я уяснил, что какой-то подвыпивший постоялец приставал к ней, она едва отбилась и бросилась за помощью. Впрочем, обидчик, конечно, исчез, а тетка улыбнулась мне нежно:

— Спасибо вам...

И провела рукой по моему плечу. Уж не придумала ли она всю историю в поисках повода постучать в мой номер. Вот какая сила таится в цветах и шоколаде. Я чмокнул ее в щеку:

— Если что — я на посту...

Галина забилась в самый угол, натянув юбку и кофту кое-как, успев даже нацепить туфли; в руках — стакан портвейна, и отчетливо было слышно, как цокают о стекло ее зубы. Потом выяснилось, она была уверена — ее сейчас заберут, и по-своему готовилась к аресту. Я

обнял ее, шепча на ухо, что никто-никто ее не тронет. — Правда, что ль, — прошептала она с замиранием и благодарностью, будто я спас ее от неминуемой беды, и даже чуть всплакнула. Всклипывая, путаясь дрожащими руками, она принялась торопливо меня раздевать; стянув с меня и трусы, она с боязливой осторожностью сжала кончиками пальцев мой опять набухший отросток. Потом вдруг отдернула руку и прошептала:

— Скажи, что никому не скажешь.

— Не скажу, не скажу, — бормотал я, распаленный, не зная, конечно, о чем речь, торопясь привлечь ее к себе.

Она оттолкнула меня и прошептала несколько даже зловеще:

— Клянись! — Я лежал на спине, она наклонилась надо мной, и ее волосы падали мне на губы. — Клянись: чтоб он отсох!

— Клянусь, — сказал я, несколько даже испугавшись.

Она отвела свои волосы, долго заглядывала мне в глаза, потом зажмурилась и стала сползать вниз, мотая головой, водя губами сначала по моей груди, потом по животу и паху. Я понял, в чем дело, лишь когда ее губы сомкнулись на моем предмете...

Мы провели еще несколько часов вместе, и, когда я вывел ее на улицу, все небо было усеяно крупными южными звездами. Она повторила понравившийся ей прием в темноте сквера, присев на корточки.

— Стыдно-то как, — прошептала она одними сытыми губами. — Я пойду, мне пора... а то мать разорет-



ся.. Не провожай, мне близко.. — И уже из темноты. — Только никому, слышишь...

Кому я мог выдать это свое знание: общих знакомых у нас с ней не было, если не считать моего шапочного приятельства с ее подопечными шимпанзе, даже к исповеди я не ходил... Я стоял у самого моря, прибой накатывал под ноги. Пахло югом и ночью. Я испытывал блаженные легкость и пустоту в теле, смотрел на звезды, пытался заглянуть между ними — в непроницаемое. Я обладал двумя тайнами, не зная, которая из них важнее. Я не знаю этого и теперь, когда решился их открыть. Решился потому, что давно умер мой профессор, и разбежались обезьяны, пропали в неприютных горах; и разрушился город, шальной снаряд разнес ресторанчик на веранде над морем. Как теперь узнать, что случилось с девчушкой, которая, надо думать, давно забыла о доверенном мне секрете. Как проверить, верно ли, что все мы на этой земле не хозяева, лишь пришельцы. Посланники, посланные неведомо кем.

Из книги «АЗБУКА ИМЕН»

## ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ

Помню, хлипким осенним деньком я встречал ее на вокзале. Поезд «Одесса-Москва» должен был прийти рано утром, но опаздывал. Я кутался в воротник, держа букет розовых астр под мышкой. Судя по номеру, указанному в телеграмме, Алла прибывала спальным вагоном, тот располагался обычно в голове поезда; но от безделья я прошагал перрон взад-вперед несколько раз. В сырую погоду резче тянет вдоль путей горькой колесной гарью; я дышал ею и злился на себя, что пришел. Но и уходить теперь было глупо.

Наконец, состав вплыл в стеклянный дебаркадер Киевского вокзала. Нельзя сказать, чтобы я волновался, — не больше, чем всегда, коли кого-то встречаешь; признаться — я успел почти забыть Аллу. К тому ж, последняя наша встреча закончилась образцовым скандалом, на какие она была мастерица. Но, глядя на медленно подползавший состав, среди беспокойной толпы встречающих, под крики носильщиков поберегись, увертываясь от их тележек, своего рода возбуждение испытывал; предвкушал, что сейчас же повезу ее в мастерскую, погружу в ванну, присяду на край, буду слушать немолчную южную болтовню, запустив руку в пенную воду: был уверен, что после долгой разлуки — мы не виделись полгода — Алла заново взволнует меня...

Это был один из тех женских характеров, что так будоражат мужчин: она была страстной и неверной, коварной и наивной, щедрой, бесшабашно гостеприимной, не думавшей о завтрашнем дне, — такая одесская Манон. В гороскопе этого имени, впрочем, так и сказа-

но: похожа на юркую птичку, и вьет гнездышко, где б ни находилась.

В ее родном приморском городе, как известно, юноши как один мечтают водить корабли, а девушки пишут стихи; но под жарким солнцем в неге фонтанов и пляжей роли быстро перепутываются: поэмы пишут мужчины, молодые дамы перепродают контрабандные тряпки, а там и вовсе садятся дома при первых признаках беременности. Дети рождаются скоро и обильно. Уже возле тридцати не случившиеся капитаны дни просиживают на лавочках на набережной, обсуждают стати фланирующих курортниц; женщины в этом возрасте уж обвисают телом и грудями, говорят с хрипотцой и смолят папиросы... Каштаны в цвету, Привоз, станции трамваев Лонжерон и Аркадия, Дюк, лестница, «Гамбринус», Дерибасовская угол Ришельевской, белье на веревках, характерная речь, запах жареной кефали, своеобразный юмор, — и некоторые, европейской складки, одесские мальчишки и девочки с младых лет мечтают бежать от этой уютной, но душной родной экзотики — в Москву, к метелям, в никуда, чаще всего — в неизвестность, в крушение честолюбивых надежд, в нищее кооперативное жилье до старости и в невозможность часто видеть родное море.

Алла была из таких.

Пройдет лет двадцать, она и впрямь будет жить одна в уютной кооперативной однокомнатной квартире с неудобным, узким и изогнутым, стенным шкафом, в который с трудом втискивалась, чтоб достать запрятанное по весне в глубину потертое зимнее пальто, на Корвинском шоссе, автобусы частые, так что удобно; во

дворе всё алкаши, бомжи, мусорно, чудь, мордва, татары из казанских деревень, и во всякую погоду сушится ветхое белье на веревках, как когда-то во двориках родной улицы Гамарника...

Но когда мы познакомились в пестром буфете Дома литераторов,— меня туда затащил один писатель, приятель юности,— она была еще молода, под тридцать. Уже в теле, но еще упругая и подвижная, с легкими сильными ногами, с далеко оттопыренным бюстом, хоть и с наметившейся уж, обещавшей стать мощной, холкой, уже с налитыми плечами и твердой, как из бронзы, спиной пловчихи. Образ жизни ее был в те годы бесхитростен: пила водку, говорила с южнорусским акцентом, страшно тараторя не к месту, часто — здесь же, в писательской распивочной — влюблялась в поэтов, тоже как-то невпопад, и, разумеется, сама писала стихи. Любовные и — я не знаток поэзии, даже не любитель ее, разве что Тютчева — на мой взгляд наивные и корявые.

Влюбленности у нее случались не то чтобы по пьяни, — по гульбе. Касание колен под залитым водкой, с окурками в винегрете, буфетным столом, сплетение рук, привораживающий лукавый взгляд сквозь черную челку и зовущая улыбка; в брусничной помаде липкие лакомые губы, а там и первый застольный брудершафт, и — стремительно страстное движение такси сквозь обсыпанный ли снегом, забрызганный ли весенней грязью город, с обжиманием на заднем сидении,— к ней на квартиру: никогда не интересовалась такими пустяками, как — женат ли, холост ли, делит ли свое жилье с мамой, — любовь с первого взгляда, одно слово.

В далеком заводском районе она снимала тогда полупустую квартиру с двумя смежными комнатухами: стол был только на кухне, по матрасу прямо на полу в каждой комнате, заныр, притон, дыра, логово, студия поэта. Здесь же проживала и товарка, юная девица — стыдливо порочный глаз исподлобья — из Молдавии, кажется: и смысл ее пребывания возле Аллы долго казался мне неясным.

Вскоре, после еще пары рюмок на кухне, вновь прибывший возлюбленный оказывался распростертым на матрасе в дальней комнате, и его подвергали горячей обработке, — Анна была не только любвеобильна, но и очень страстна, хоть и на удивление неумела, — своего рода кипячению можно сказать. Она была неугомонна и бесцеремонна, что в ее годы с натяжкой сходило за непосредственность. И повторяла после каждого соития с усмешкой: ты же меня не бросишь, — хоть могла спяну и не помнить имени партнера. И еще: правда, я самая лучшая...

Для характера Аллы то еще было существенно, что она являлась своего рода белой костью, из золотой одесской молодежи — ее папа был в родном городе директором рыбзавода, весьма уважаемый, вы понимаете, ответственный пост, одного парноса сколько всякий день пересчитать. Папа присылал ей много денег, зарплату провинциального профессора, с лишком достаточных для того, чтобы и жильем обзавестись поприличнее, и одеться получше. Но она эти деньги нещадно погулиwała, нищие поэты в ЦДЛ — и ее бывшие, и еще не причастившиеся, а то вовсе случайные — бывали обильно угощаемы. Так что она являлась своего

рода королевой буфета, ее появления всякий раз ожидали с нетерпением, ее вход — зачастую с кавалером, которого, впрочем, к вечеру она вполне могла забыть, как бы нечаянно обронить под стол, — был обставлен не без оттенка триумфа. Впрочем, несколько раз понаблюдав за ней, я пришел к выводу, что в этих безусловно тщеславных и богемных залихватских эскападах таилась и доля вполне жалкого расчета: она же все-таки была поэт, и искала помимо удовольствий — признания московской братии, но это было наивно. Протрезвев и встретив ее, положим, в какой-нибудь редакции, недавний собутыльник побежал бы от нее по коридору в противоположном направлении; в крайнем случае, вяло поздоровавшись, сослался бы на неотложные дела, — и рукописи ей постоянно возвращали. Что ж, она не понимала московской издательской кухни, которая все-таки отличалась — и не в лучшую сторону — от правил честного одесского рыбного бизнеса...

Впрочем, было бы неверно сказать, что она была так уж непоправимо ветрена в делах сердечных. Во-первых, она была добра и отзывчива, любила лечить — в прямом, медицинском смысле, умела что-нибудь пришить — в смысле портновском. Во-вторых, ей было все-таки пора искать постоянства, и она искала, — другое дело, оно ей с трудом давалось, южный темперамент и закваска. К тому ж, в этом своем понятном дамском стремлении, она с удивлением то и дело натывалась на необъяснимый для нее факт: в Москве ей всегда и все неизбежно и варварски изменяли. Не знаю, как уж было у нее в Одессе, по ее рассказам, она была там вероятно в моде, но в столице ее замашки бывшей про-

винциальной примы с рыночным произношением были чуть комичны, и к ней, конечно, никто не относился всерьез; хоть этого она не понимала, упорно играла свою роль, и подчас мне бывало жаль ее, — впрочем, так и все мы: кажемся самим себе одним, другим — другим.

Непосредственно передо мной ее окучивал талантливый, нищий и смертельно пьющий, поэт Г., позже завязавший, женившийся и прославившийся, но тогда решительно не способный сдвинуться с матраса хоть в сторону сортира, пока товарка Аллы живенько не сгоняет, дождавшись одиннадцати часов, за водкой. Поэтический дар, но прежде другого его относительная неподвижность, по-видимому, и навели Анну на мысль, что с ним у нее — надолго, он перешел на ее содержание и под ее опеку, она даже заставляла его карябать с похмелья какие-то строки, а сама почти забросила писательский буфет и тоже усаживала себя за работу: они зажили как два поэта под одной крышей, дело, понятно, мыслимое лишь при ее полном простодушии. К тому ж по наивности она переоценила степень его инвалидности; однажды, отправившись по утрам за водкой сама, надо было сделать и еще кой-какие покупки по закуской части, — молодой товарке она кулинарию и гастрономию не доверяла, — вернувшись, — по одесской привычке, если кто-то оставался в квартире, дверь она не запирала, — Алла застала избранника козлом прыгающим на с задранной юбкой, со спущенными колготами ее приживалке, — попка у той, помнится, была аппетитна. Что больше всего поразило Анну, так это, что скачет почти парализованный еще пятнадцать минут



назад поэт с примерной резвостью, и прежде всего именно в этом ей почудился коварный обман, — с ней, с Аллой, он теперь все больше валялся рядом пьяным бревно бревном. Поэт был выселен, приживалка осталась. Позже я понял, что держит она ее не как прислугу, и не для привлечения посетителей, но именно как товарища, — она панически боялась одиночества, страдая от нового своего положения почти беженки, без собственного крова, без семьи, была все-таки когда-то домашней девочкой. И поэтому же цеплялась даже за случайных партнеров, ища точки опоры и устойчивости.

Не знаю, отчего относительно меня у нее возникли новые иллюзии — это после столь многих разочарований; могла бы сообразить, что я тоже не подхожу на роль верного спутника, — в те годы никак невозможно было заподозрить во мне постоянного милого друга. К тому ж, я не скрывал, что женат.

Может быть, она обманывалась потому, что я явно не вел семейный образ жизни и не писал летучие стихи, но занимался приличным мужским ремеслом дизайнера, — к слову, я всегда так представляюсь дамам, чтобы избежать idiotских вопросов а что вы рисуете и вы ведь напишите мой портрет? Однако, проснувшись как-то у нее на матрасе, я понял, что она мне — нравится. При ее нраве, душе нараспашку, простодушной страстности и не столичной доверчивости с ней было легко; она была веселый, добрый и храбрый товарищ, а что, собственно говоря, еще требуется от женщины тридцатилетнему много работающему почти холостому художнику. К тому же, Анна прекрасно стряпала. И, судя по тому, как интенсивно варились ею теперь борщи,

тушились овощи, запекалось мясо, она принялась за меня всерьез. К слову, я по какому-то наитию избегал приглашать ее в мастерскую, ссылаясь не ревнивую жену, разгуливавшую в это время, скажем, по Елисейским полям. Я чувствовал, что Алла из тех женщин, которым свойственны поползновения, чуть что-то им померещится и пригрезится, — оставаться жить. Так что палец ей в рот лучше было не класть.

Так вот, о серьезности ее намерений. Помнится, как-то я сам себе устроил сравнительно недалекую командировку: отправился на этюды в провинцию; готовилась очередная всероссийская выставка, и я по глупости желал непременно в ней участвовать; призы, впрочем, были: закупки, стипендии с отправкой в Италию... Времена были варварские, еще советские, и мои натюрморты-расчлененки на выставку никак не попали бы. И я пытался заставить себя пейзажничать...

В гостинице было тошно: ужасный номер, вода в кране — как манна небесная, мыши, телевизор дает только звук, ресторан отвратительный, с тараканами, бегающими по скатерти. И вот, когда я на вторые сутки вечером под рваные хрипы слепого телевизора валялся на постели поверх шерстящего даже сквозь штаны одеяла, понимая, что с неотвратимостью под звуки каких-нибудь «Листьев желтых» сегодня вечером вдрызг надерусь в этом самом гостиничном кабаке, — дверь отворилась и вошла Алла.

Как она меня нашла, ума не приложу: впрочем, я ей обмолвился, что еду в командировку в Калужскую область. Оказывается, она обзвонила гостиницы всех уездных городков, и уже во второй меня обнаружила...

Вот так и может зародиться глубокое чувство: я встретил ее, как осажденный город принимает героев освободителей. Мы провели вместе три дивных дня, своего рода медовый месяц, и этот городишко остался в моей памяти не засраным и покосившимся, но милым как позабытая провинциальная любовь. С гужевым транспортом на улицах — попросту, с телегами, которые перетягивали с холма на холм — городок был горбат — облезлые битюги; с щемящей сладостью пустых октябрьских садов, обдерганных палисадов, выцветших ситцевых занавесок на кривых окошках с геранью, и сиротском, тающем в вороньем грае, в прозрачном горьком от прели воздухе, — от его осенней остроты перехватывало дыхание, — звоне колоколов единственной во всей округе изъеденного красного кирпича церкви... Даже пейзаж сочинить захотелось... Кстати, это был единственный случай, когда я испытал к Анне благодарность. Ближе к Новому году она принялась меня ревновать.

Помнится, первый скандал случился в сочельник на даче моего приятеля в Тайнинке — точнее, на даче его отца, бонзы в Союзе художников. Алла потащила туда и свою приживалку, хоть я всячески противился. Нельзя же ее оставить на Новый год одну, неумолимо заявляла Алла. Но я-то уж знал, что та тайком путается с окрестной шпаной их рабочего района — и только что лечилась от триппера. Оставалось надеяться, что она вылечилась, ведь в суете праздника кто-нибудь из шаловливых и неприятельных моих друзей-художников непременно вдул бы ей на холодной задней веранде: всех же не оповестишь, не вывесишь над дачей штормовое предупреждение... Как всегда и бывает, меня-то, един-

ственного посвященного в медицинскую тайну товарки, Алла к ней же и приревновала, — я действительно любил спяну хлопнуть ту по упругому заду. Конечно, никто из нас не был трезв, но Аллу так разобрало, что она бросилась на меня с кулаками. В порядке самообороны, возмущенный столь откровенной несправедливостью, я заехал ей по роже, и домой она возвращалась с фиолетовым подглазьем. Впрочем, утром она на меня и не думала сердиться, так, неопределенно что-то хмыкала перед зеркалом, из чего я заключил: то, что называется на милицейском языке бытовуха, у нее в обычае.

Не буду утомлять вас описаниями схожих сцен страсти, которые стали происходить все чаще. В какие-то моменты она оказывалась сущей фурией, швыряла посуду, я срочно покидал ее дом, она гналась за мной по лестнице, бежала, вопя и стеляя вернись, в тапочках по мокрому снегу, спяну скользила, бухалась мордой в заледенелую корку подтаявшего сугроба, и, вся исцарапанная, с кровью на руках и щеках, посылала мне вдогонку какие-то дерибасовские пожелания... Как водится, потом она обрывала мой телефон, я возвращался, день-другой проходили в южной пыли и в приготовлении знойной пищи, потом всё начиналось с начала, и очередной шторм обрушивался на наше, еще вчера погруженное в негу, тихое побережье... Она стала надоедать мне, я принялся замечать, сколь она неряшлива: прошлогодний жир в сковороде, со вчера немытая посуда, серые внутренние швы брошенного на стул бюстгальтера... Это разочаровывает.

Я исподволь вил веревки, готовя подкоп и побег. И однажды, всё рассчитав, взял путевку в Худфонде, со-

брал дома чемодан, прихватил мольберт, краски, кисти, там было не купить, — и сорвался в Палангу в Дом творчества... Стоял дивный март, по Паланге бежали ручьи, оттаивали тротуары, газоны и девушки. На освободившемся от снега пляже спали утки, пряча головы под крыло: их я и писал, наслаждаясь прекрасным весенним приморским светом... Бывало солнечно, городок — чистоват; в холодном подвале к пиву давали черные соленые сухари, в кофейне на несколько столиков варили густой кофе по-турецки; на Г-образном пирсе, носом указующим на Швецию, торговали бусами грубо ограненного черного янтаря; чайки караулили полосу темной воды, оставленную отошедшим от берега льдом... Алла нашла меня и тут.

Однажды в столовой мне вручили письмо от нее. Я заволновался, как перед выставкомом, — неужели едет, как это было бы некстати. Но обратный адрес успокоил — Одесса. Оказалось, дедушка, папа рыбного папы, не в шутку занемог и при смерти, и она вернулась в родной город дежурить посменно с матерью у его больничного одра. Ну, и за наследством, наверное: она была предусмотрительно прописана в квартире старика.

Я откопал в старом саквояже несколько ее писем, чудом не исчезнувших во время моих многочисленных потопов в мастерской. «Здравствуй, мой ненаглядный», начинается первое. И после описания отчаянного положения дедушки: «В Одессе бушует весна: солнечная погода сменяется туманом, туман дождем, дождь ветром, и я снова в состоянии написать тебе ветренное письмо». Далее — доклад о флирте с дедушкиным лечащим врачом «местной уездной кремлевской больницы», как она

выразилась. «Он молод, очень хорош собой, но роман носит чисто платонический характер, и, надеюсь, тебя не огорчит». Даже у дедушкиного одра — верна себе, к тому ж не может удержаться от похвальбы. Лирика припасена на финал: «Кажется, я по тебе начинаю скучать нестерпимо. Иногда даже думаю, что моя влюбленность была не только душевным помешательством, но и симптомом возможной любви, если ты, моё золотишко, конечно, не будешь приставать с нудными нравовучениями». Восхитительная смесь любовных признаний, поверхностной рефлексии и попытки заведомой сделки. «Писать больше некогда, дед проснулся. Целую тебя, моя радость». Второе из выживших ее посланий — более любовно нормативно: «Родненький, очень хочется к тебе. Обниматься, целоваться, наговорить всяких ласкостей, спать с тобой хочется, уткнувшись в твое плечо». Потом лист медицинского состояния дедушки, потом — приглашение летом на одесскую дачу и к знакомству с родителями. «Дедушка проснулся, целую тебя нежно. Твоя А.». Вот тут-то, в который раз сраженный ее простодушием, я и купил ей на пирсе с рук, у немолодой дамы, нитку того самого черного, едва ограненного, янтаря. И послал бандеролью...

Поезд «Одесса-Москва» надвигался все неотвратимей, залязгал, дернулся и встал. Пассажиры стали выпадать с площадки вагона, кутерьма, возгласы встречающих, — ее все не было. Наконец, когда проем двери расчистился, показалась и Алла. Боже мой, что с ней стало. Она была растрепана, губы расплылись, физиономия опухла: она улыбалась неясной хмельной улыбкой и даже не искала меня глазами, а, покачиваясь, ша-

рила ногой в поисках тверди перрона. Она была одета не по московской погоде, в какую-то грязно-белую водолазку, в джинсы и легкую кофту, но что бросалось в глаза — так это ожерелье черного не ограненного янтаря, покачивающееся на ее большой груди. Сзади ее пытался поддерживать в дым пьяный средних лет пассажир, попутчик, надо думать, по спальному купе... Я поспешил истаять в толпе, не забыв выбросить букет в урну. Через день она позвонила, я сделал вид, что удивлен: разве ты в Москве. О телеграмме — ни слова, скорее всего, она забыла, что посылала ее.

Вскоре я получил еще одно, последнее письмо — оно было подсунуто под дверь мастерской. «Мы можем продолжать нашу дружбу, разумеется, ИПОСТАСИРУЯ наши отношения». Не надеясь на мою эрудицию — я и впрямь не понимал, что означает это странное деепричастие,— она поясняла: «ИПОСТАСА — греч. замена, термин введен в русскую поэтику В. Брюсовым». Это она вычитала в каком-нибудь словаре — столь доверчивым девушкам с поползновениями не нужно позволять читать словари и энциклопедии...

Позже я не раз случайно сталкивался с Аллой — то на какой-нибудь выставке, то в баре Домжура, — мы лишь, улыбаясь, раскланивались. Стало известно, что она вышла замуж за художника много старше ее, которого увела от жены. Художник, мой давнишний знакомец еще по секции графики Горкома, — я в ранней молодости там числился, чтоб не надоедал участковый с требованием трудоустроиться, — худенький невысокий еврей, оформлял книги для детей. Молва доносила, что супруги пьют, хотя, когда она его брала, он был в завяз-

ке, — и много дерутся. Через год-два он сошел с ринга — наверное, выбыл по очкам, уж больно разные во всех смыслах были категории. А вскоре умер от сердечной недостаточности: жаль, он был приятным человеком, редкость в артистической среде, такой седой бородастый мальчик, похожий на доброго гнома, всегда очень улыбчивый.

Потом она вовсе пропала из моего поля зрения.

Через много лет общий знакомый на мой вопрос об Алле, — не помню отчего, но зашел разговор об Одессе, — донес, что до недавнего времени Алла жила с неким Пашей-заводчиком. Нет, он не имел завода, но разводил овчарок. Когда Паша Аллу бросил, две овчарки остались у нее в квартире. Паша честно давал на их прокорм по пятьдесят баксов в месяц, на что втроем и жили — обе овчарки и она. Видно, рыба в Черном море иссякла... А недавно я случайно узнал, что ее тоже уж нет на свете. Рассказали и подробности. Кажется, ее убил какой-то анонимный собутыльник. Наверное, в ходе пьяного скандала слишком сильно шваркнул головой о бетонную стену. Бытовуха, одним словом. Я прикинул, ей не было и сорока пяти.



## ПАДЕНИЕ КУРСА

Пиво на неделе, по субботам шнапс, в воскресенье шампанское — так описывала позже она свою замужнюю жизнь в хилом городке под Дюссельдорфом, где обитали преимущественно турки. Она подцепила меня в галерее Манеж, после фуршета увязалась в мастерскую с компанией моих приятелей и дала еще до начала пьянки за шкафом, не снимая плаща. Утром я позвонил ей. И минут через сорок был у нее на Октябрьской. Махнув полстакана шнапса, только сейчас я смог ее разглядеть. Она была, хоть и меленькой, но отлично сложена: выяснилось, что в юности она танцевала в ансамбле народного пляса.

Звали ее, оказалось, Лёля. Из-за тогдашней разницы курсов она, захудалого достатка провинциальная бургерша, в Москве со своими марками становилась богачкой. Отрываясь от мужа на лето под предлогом ухода за престарелыми родителями, в Москве она хотела иметь все удовольствия. Она любила наряды и одевалась по образцам американского Vogue с налетом восточного базара. Для выхода на люди ей потребен был кавалер — без денег, но из богемы. У нее был один известный актер, игравший в кино купцов, а на подмостках парней из нашего двора, но — спившийся. Вакансию, видно, был призван заполнить я.

Лёля прибывала на сексуальные каникулы каждое лето, но за зиму я успевал забыть ее, и в первый вечер все бывало как впервые. Но наутро оказывалось, что вся ночь — калька бывших. Я пытался разнообразить наш секс, но сталкивался с досадными препятствиями: она

не любила сзади, это ей не доставляло удовольствия, она в порядке исключения брала в рот, но быстро выталкивала член из губ и командовала ляг на спину. Скорее всего, с мужем лет на пятнадцать ее старше, в отсутствие у них детей и при неизбывной вине немцев за холокост, она играла в постели роль девочки-командирши, помыкая своим фрицем и скача не нем. К тому же, немецкие феминистские журналы утвердили ее в мысли, что в койке, как и на кухне, она — единственная хозяйка, так что она предпочитала вовсе не заботиться о партнере: мол, как-нибудь сам подтянется.

После того, как Лёля шумно отправляла нужду, она устраивалась спиной к стене, закуривала, требовала шампанского. Кричала, как принято в еврейских семьях — через две комнаты, мама, сделай нам кофе. И сухая мама, вся в пергидроле и с заледенелым напудренным лицом, вносила в комнату поднос, вежливо кивая мне, завернутому в простыню. Мама, поставь, закрой дверь, спасибо, капризно говорила дочь. Покорность матери определялась тем, что Лёля полностью содержала своих стариков.

Осушив бокал, она заводила привычную речь, какие уроды русские мужчины: в нечищенных ботинках и мятых штанах. И все время делают вид, будто о чем-то думают. Подчас меня все это развлекало: и ее высокомерие, и эгоистичная сексуальная тупость, и склонность к нелепым обобщениям. Подчас раздражало. Тогда хотелось изнасиловать ее: кончить в рот, наконец, или засадить в анус как можно глубже.

Мы были знакомы с Лёлей уже лет шесть, и в ее каникулярные гастроли всегда встречались, хоть у нее и

завелись молодые любовники-актеры. Германия объединилась, Россия перестроилась, внук Мальчиша-Кабальчиша провел реформы: курс валюты пришел к нормальному виду, на прилавках возникла снедь, и Лёля перестала в России быть богачкой. Теперь уже я покупал шампанское и расплачивался в ресторанах. Прежде они не позволяла мне это делать, выкладывала на стол перед официантом советские рубли мятыми кучами, приговаривая зачем мне эта бумага, вы не знаете — дежурная фразочка...

Однажды мы сидели в маленьком кафе. Я заметил, что она смотрит на меня несколько странно. Она, обычно говорившая, не умолкая, сегодня была тиха и не жестикулировала. Кажется, она волновалась. Я расплатился, она встала и выдохнула ну, пойдём. Сказано это была так, будто только сегодня она приняла решение изменить мужу.

Едва оказавшись в своей комнате, она сбросила с себя все. Уселась мне на колени, сунула руку в ширинку, поцеловала в ухо и прошептала я решила, сделай это... Вот уж не думал, что она чем-то может меня удивить, но сейчас понятия не имел, что она хочет сказать. И только когда она со смешком встала, вильнула попкой и плюхнулась животом на кровать, я сообразил: она решила наконец-то предоставить мне свой зад. Это, конечно, было судьбоносно, но преподнесла она свое решение чуть комично. Я присел к ней, пощекотал отверстие пальцем: дырочка как дырочка, стоило ли столько канителиться. Но, по-видимому, деловитость, с которой она приглашала меня попользоваться ее жопой, меня

расхолодила. Член мой потянулся было вверх, но тут же и упал — совсем как курс дойче марки.

— Ну, налей, — сказала она недовольно. И опять вздохнула.

— Ты любила анальный секс? — поинтересовался я, поднося ей бокал шампанского, в который щедро плеснул и водки: белый медведь.

— Ну, ты же знаешь! — темпераментно воскликнула она, и махнула полбокала. — Терпеть не могу. Но недавно муж посмотрелся Тинто Браса... Но я не могу с ним в первый раз. И потом — он же может удивиться!.. — Она махнула вторую половину. И тут же совершенно окосела. — Ну, давай же, — сказала она капризно и опять подставила задницу... Я выпил еще, в раздумьях эту задницу разглядывая. Кажется, мне отвели роль первопроходца. Что ж, дефлорация — почетная миссия, но японцы нанимают для этих целей специальный персонал. Пока я раздумывал о японцах, пьяная Лёля захрапела.

Я еще раз потрогал ее дырочку. Мазнул кремом, и вставил ей в анус веточку гладиолуса, которую отщипнул от принесенного мною букета. Веточка не приживалась, пришлось проткнуть поглубже — Лёля только тихо ойкнула во сне. Вышло красиво, лучше, чем в вазе. Я тихонько вышел, отомкнул замки, которыми ее мама защищалась от грабителей и насильников. Было хорошо на свободе: стояла жара, даже птицы не пели, и доносились музыка из Парка культуры. Я пошел туда, оказался в аллеях, наткнулся на карусель. Я выбрал маленького игрушечного ярко раскрашенного пони. Карусель завертелась, я поскакал. Карусель крутилась; на Лёле гар-

цевать было бы много неудобнее, чем на моем деревянном скауне. Да и скорость вращения у нее была не та.

## ПАДАЛИ ЯБЛОКИ

Право, зря мы опасаемся встреч с былыми одноклассниками. Однокашниками, как принято говорить отчего-то, будто речь идет о борзых щенках. Не знаю, как вы, я тщательно избегаю всяческих вечеров памяти, традиционных сборов, восклицаний, лобзаний и взаимной неловкости бывших выпускников. Может, я чрезмерно пуглив, но встречи эти напоминают об одном неприятном свойстве времени — слишком быстро течь. О бренности, в конечном счете, ведь нет ничего печальнее, чем видеть свою бывшую соседку по парте, которой на уроках ты сжимал колено, а потом целовался в сквере за школой, — видеть осевшей, опухшей, расплывшейся, с плохо покрашенной сединой.

На этот день рождения я все-таки пошел. Во-первых, это был юбилей, моему школьному товарищу В., давно уж профессору по линии физики, стукнуло сорок пять. Во-вторых, он не поддерживал отношений с бывшими соучениками, так что бояться было нечего.

Представляя меня своим гостям-сослуживцам — вот, мол, друг детства, стал известным художником, — юбиляр вдруг произнес а с этой дамой ты давно знаком. Я вгляделся — ничего не видно, заурядная бабища из поздних кандидатов технических наук, здоровая, задастая, крашенная под солону, как я мог быть с ней знаком, где, с какой стати? Ее усадили в дальнем от меня конце стола, по диагонали. Выпивали водку, дамы — арбатское, дом был бедный, техническая интеллигенция, что вы хотите, кушали салат-оливье, который не имел никакого отношения к знаменитому повару-

французу, и селедку под шубой; говорили тосты; я поглядывал на эту самую кандидатшу, но вспомнить так ничего и не смог, хоть убей. Подали горячее, запеченные с сыром и майонезом куски говядины. Еще выпили и поговорили. Наконец, дошло до самого мучительного для меня, но неперемного пункта времяпрепровождения инженерно-технических сотрудников. Эти немолодые подвыпившие люди, давно родители взрослых детей, запели хором под гитару песни молодости, причем аккомпанировал сам юбиляр: про синий троллейбус, про подлодку, про автобус с кондуктором Надей, про ЯК-истребитель, про другие последние и случайные виды транспорта. Моя ложная знакомая, встряхивая свою соломой, голосила высоко, с самозабвением. И тут меня как по лбу хлопнули: ну да, это с ней мы гуляли в ночных полях кормовой кукурузы, это внутри ее кофты я лазал когда-то туда-сюда, к ней я прижимался горевшим пахом, а она от греха крепко сжимала в потном кулачке, как золотой ключик, застежку своих штанов... Имени ее я не помнил, конечно, но — Боже — что делает время с нашими былыми девочками...

Это было восхитительно знойное лето моей юности — я клал кирпичи. Дело вышло так: утомленный моими непредсказуемыми эскападами мой отец-физик, — кстати, Д. был некогда его аспирантом, — устрешенный перспективой моих летних каникул — между девятым и десятым классами средней школы — решил сбегать меня от греха и определил в студенческий стройотряд.

Отряд дислоцировался в Смоленской области, в местности кочковатой, безлесой, поросшей редкими кустарником, с единственной чахлой речушкой. Нас бы-

ло человек пятьдесят, разбитых на три, что ли, бригады. Мужская часть отряда занимала помещение клуба, которое быстро превратилось в казарму — с портянками, гитарами, вонью многих пар юношеских ног и картинками из «Огонька», приклепанными к бревенчатым стенам. Девочки жили поодаль, почище, в зале сельсовета. Там у них пахло лосьоном и девственностью, было скучновато. Я наведывался туда вот к этой самой своей платонической подружке; а поскольку дальше щупанья гениталий друг друга сквозь штаны дело не двигалось, я смущал ее тем, что набрасывал в ее блокнотике ее фигурку с ее личиком, но — обнаженную; и это она самая сейчас на юбилее моего одноклассника, сидя за другим концом стола, безголосо поет: а на нейтральной полосе цветы...

Психологи знают, в больших группах зачастую верховодят младшие: скажем, именно дети заставляют взрослых оторвать жопу от телевизора и идти в кино. Так что я быстро занял в отряде лидерское место, благо мне было шестнадцать, остальные лишь двумя-тремя годами старше. К тому ж, я был москвич, а они в большинстве провинциалы, и я умело и споро набрасывал шаржи на со-отрядников в стенгазете-молнии. Не отличаясь рвением на работе, во вне рабочее время я то и дело влипал в какие-нибудь авантюры.

Один раз я, первый школьный танцор, предложил ввести в программу нашей комсомольской агитбригады, которой полагалось просвещать сельскую молодежь, рок-н-ролл. Это было дерзостью по тем временам, так что мой номер под битлзовскую «Мисс Лизи» проходил как пародия на жизнь порочной заграницы.



Партнершей моей была долговязая с виду неуклюжая девица с лицом будущего физика-теоретика, подружка моей напарницы по петтингу; впрочем, как часто бывает, дурнушки вертятся и крутятся бойчей и ловчей иной красотки...

Первое же выступление закончилось печально: морально здоровые поселяне мигом раскусили провокацию, дружно освистали мой номер, а после концерта сельская молодежь подстерегла нас и забросала автобус комками навоза. Так что пронести контрабандой порочное западное искусство в народные массы у меня не вышло.

В другой раз, вкравшись в доверие к сельскому конюху, я по ночам, когда был свободен от щупанья своей подружки, объезжал довольно норовистого жеребца, причем весьма успешно, конь привык ко мне, и я ездил верхом от деревни к месту возведения коровника — объекту нашего отряда, километрах в трех от села.

Это было, конечно, забавное зрелище: в кузове грузовика едет отряд с неперменной студенческой хоровой песней, что-нибудь вроде:

Говорила ли я, говорила ли я  
Говорила ли я, что люблю,  
Говорила ли я, что мой голос дрожал,  
Когда села я жопой на ежа...

А обок дороги мелкой рысью идет мой жеребец, на котором гарцует ваш покорный слуга. Надо ли говорить, что сердца студенток тянулись к гордому всаднику. Однако и здесь дело кончилось конфузом: в один прекрасный день нам повстречался страшно дребезжащий вонявший соляжкой трактор, и мой конь, до того пас-

шийся лишь на мирных дальних вольных лугах, прынул и понес через кукурузное поле, и вскоре я лежал пластом на земле под высокими покачивающимися зелеными еще о ту пору початками...

Однажды в столовой, где кормился отряд, ко мне обратилась пожилая подавальщица:

— Эх вы, лбы здоровые, а такие лопухи зеленые. У нас вон Верка одинокая, красавица, одна пропадает.— И добавила: — А ведь тоже городская...

Узнать, в каком доме живет Верка, не составило труда, и этим же вечером я постучался к ней в дверь под предлогом попросить ведро, чтобы зачерпнуть воды из колодца. Когда совсем стемнело она уж потчевала меня брагой, предлагая закусывать молодым белым сыром — выяснилось, она работает на совхозной сыроварне.

Это была тоненькая и подвижная, с грубыми сильными красными руками и пятками морковного цвета девушка лет девятнадцати, из Смоленска. О причинах ее одинокого сидения в этой глуши можно было лишь догадываться: скорее всего, ее определили сюда без ее воли не за самое моральное поведение в быту. При этом она была миловидна, порочно застенчива и, конечно, податлива.

В ее комнате меня поразила одна странность: все окна были наглухо завешаны, причем одно — одеялом, очевидно, занавески не хватило.

Впрочем, после второго стакана браги дело объяснилось: одно стекло вдруг со звоном разбилось — кто-то снаружи кинул камень. Мне это не очень понравилось. Но Вера успокоила:

— Да они каждый вечер так...

Они — это были, по-видимому, деревенские парни, которым она по своим соображениям не давала.

Зато утро было дивным. Она разбудила меня на рассвете — я должен был к побудке явиться в отряд, и выпустила не на улицу, а задним крыльцом — в сад. Трава сверкала от росы в косых ранних лучах, а со старых узловатых яблонь то и дело с мягким стуком падали на землю, в давно некошеную траву и крапиву, громадные яблоки. Я испытывал неземную легкость, восторг от ее поцелуев переполнял меня, и даже когда я выбрался за плетень, все слышно было, как яблоки не устают отрываться от ветвей, и по саду идет перестук.

За обедом подавальщица незаметно положила мне двойную порцию.

— Вот и спасибо тебе, — шепнула она, — а то бабы наши совсем извелись, боятся за своих мужиков...

Вечером я опять был у Веркиного дома. Едва постучал — дверь сразу же распахнулась. Она стояла передо мной неузнаваемая. Волосы уложены. Губы накрашены, глаза подведены. И вместо давешнего халатика — юбочка и блузка, да еще с золоченой брошью, нечто вроде перевернутого якоря — вверх лопатками. И на ногах не тапочки, как вчера, — туфли-лодочки. Я-то был по-рабочему: в ковбойке, в резиновых сапогах с подвернутыми голенищами. И даже застыдился при виде ее парада. Но тут стали происходить и вовсе чудные для меня вещи: она мне поклонилась. Потом за руку провела в сени, усадила на лавку, присела на корточки и принялась стягивать с меня грязные сапоги. Я пытался было ее удержать, но она мягко отвела мои руки. Пода-

ла таз с теплой водой и показала, что я должен окунуть туда грязные потные ноги. И принялась их обмывать, — полотенце она загодя перебросила через плечо...

Все это казалось мне стыдным и блаженным. Я понял, что я — ее мужик, доселе вовсе неведомое мне состояние. И припомнил даже непонятную мне до того поговорку: ноги мыть и юшку пить...Она была в моей власти, я мог делать с ней что угодно. Вот только что — я еще не знал тогда, был застенчивым мальчиком, без фантазий. И — увы — ее готовность хоть и тешила самолюбие, но несколько и разочаровывала. Я не знал тогда, что женщина, если не уследить, с той же легкостью, с какой преподнесла, может забрать все свои дивные дары...

Я уж наладился приходить к ней всякий вечер. Каждая ночь была слаще предыдущей. И вот однажды, на исходе второй недели нашей любви, я, таясь, подкрался вечером к ее дому. Окна завешены, света не видно. Я припал к стеклу, прислушался. Из дома доносились характерные звуки борьбы, и хриплый, срывающийся от вожделения и волнения мужской голос приговаривал: ну, что тебе, ну, что тебе — жалко, что ли, расстегни, я только гляну... Я громко постучал в окно. Звуки мигом смолкли, потом на заднем дворе послышалось топанье сапог убегающего впопыхах человека. Она впустила меня: он оказался трусом, я — героем. Я был горд, она — очень нежна. В ту ночь она научила меня одной невинной штуке: после того как мы кончали — а это по молодому ражу у меня происходило раз шесть-семь за ночь — она клала мою руку себе на лобок, а сама сжимала в кулачке мой отросток. Отчего-то делать так мне раньше

в голову не приходило, да и не было места для таких ласк — в постели с девочками я и не спал почти никогда, все по чердакам да по лавочкам, или наспех на не разобранный тахте, пока родители на работе...

Когда на рассвете она выпустила меня в сад, шепнула: живи у меня. Яблоки все так же глухо падали на землю, их бока ярко светили в мокрой спутанной траве. И всё та же шальная легкость, чувство обладания не женщиной — миром, и больше я никогда не испытывал этого, только стыд и похмелье. Быть может, оттого я парил, что она не ждала от меня слов и обещаний, и соединения наши были так сказать ботанического характера, как у цветов...

В тот последний вечер я не смог ей признаться, что на другой день уезжаю, хоть и порывался несколько раз за ночь, да все обрывался — некогда было. Помню, когда я уже сидел в автобусе, вдруг увидел ее: она стояла поодаль одиноко, а потом, едва тронулись, схватила с головы косынку и махнула ею, — у меня горло перехватило.

Но впереди меня ждала — жизнь, и я имел веские основания ожидать, что эта будущая жизнь готовит мне еще много сладких подарков. А теперь, когда прошло столько лет, сидя среди пьяных кандидатов технических наук за столом своего школьного приятеля В., которому уже, как и мне, стукнуло сорок пять, случайно вспомнив давно позабытую Верку, я вдруг подумал: а что, если б я и впрямь тогда с ней остался. И жизнь, единственная бесценная моя жизнь, прошла бы не в бесцельных мотаниях по миру, ни по кабакам и невесть чьим постелям, не в рисовании пошлых картинок на продажу, но в

полях и плодоносящих садах. Вот только яблоки я теперь не люблю — кусать жестко... Весьма кстати на десерт к чаю хозяйка подала яблочное варенье

## ГАДАНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ

*Если на Галину туманом день мглист —  
лён будет волокнист*

*Примета*

Она тогда гадала с другими совхозными девушками, хотя была взрослее их, уже семнадцать, год отучилась в Москве, имела связь и сделала аборт, и в свою деревню приехала на несколько дней: зачеты сдала, экзамены были впереди. Девчонки, конечно, знали от нее про техникум, общежитие и про товароведение, но про другое она не говорила: парни у нее были татары, к тому ж — родные братья, познакомились на ВДНХ. Или двоюродные, она не знала. Был и еще один, кудрявый студент-москвич, с бородой и в дубленке, но она его плохо помнила, потому что видела один раз, встретила ночью на остановке под фонарем, возвращалась с дискотеки. Поднялись к нему в квартиру, родителей не было, он много по-умному говорил, заводил музыку и хотел только в рот; она потом звонить ему не стала, татары были ужас как ревнивы, и теперь совсем забыла, хоть он и подарил ей кассету с Майклом Джексонем и два раза приснился.

Сперва кидали от ворот на дорогу худой валенок, но тот всякий раз падал боком, носом указывая на телеграфный столб, потом послушали на околице, — собака лаяла со стороны райцентра, и сильно заметал ветер, — сговорились идти к старой бане, в которой, когда Галя была еще маленькой, угорел, перепив браги на ноябрьские, соседский дед. Пошли молча по тропинке к даль-

нему колодцу, потом свернули, таясь, в обход по целине, снег набился в сапоги, стал таять, колготки намокли, казалось, идешь босиком, как когда-то. У бани она велела всем, у кого были, поснимать заколки и обручи, сама сняла гребень и пояс; на младшей, Саньке, был крест, и его тоже сказала снять, потому что в кресте никогда нельзя ничего нагадать. Потом встали в круг и взяли одна другую за мизинцы; было страшно.

Той, кто хотела все узнать, нужно была повернуться к бане задом, задрать юбку, и коли поведет банник мохнатой лапой — выйдешь за богатого заезжего, а ежели голой — то за своего. А может, и вообще никто не возьмет. Девки замялись; Галя, как городская и без предрассудков, задрала подол и полезла спиной в дверной проем темной, вросшей по четвертый венец в сугроб, бани, и сначала не было ничего, а потом под трусами стало тепло, будто кто погладил ее теплой ладонью. Санька, самая любопытная, тоже влезла, просунула руку и вдруг побежала к деревне, крича: мохнатый, мохнатый. И все припустили за ней с визгом, проваливаясь в снег, падая, но к околице добежали, уже смеясь. Потолковав, девки согласились, что Гальке в самом скором времени идти в ЗАГС с городским, припомнили и собачий лай со стороны шоссе, и что, когда подбежали к крайней избе, там играло радио веселую музыку, — к свадьбе. И рассказали, что на центральную усадьбу, куда в новогоднюю ночь собирались на танцы, приехали социологи — расспрашивать рабочих о бюджете времени, начальник с бабой, и еще один холостой, с бородкой. Ёкнуло сердце, Галя поняла: её.



На другой день она была в гостях у старшей сестры. Муж у той был тракторист из их же деревни, пил, и все знали, что Галинина сестра второй год живет с милиционером на усадьбе, где работала в столовой подавальщицей. Дом у сестры новый, в зале стояла наряженная елка — как невеста. Пока выпивали по бокалу шампанского «Надежда», потом «Имбирной» под холодец — у сестры всегда была полная чаша, — Галя все рассматривала блестящие цветные хрупкие шары, мишуру и серпантин, клоки серой ваты на мохнатых ветках и висящие среди хвои мандарины, которые достала сестра к празднику, завернутые в серебряную фольгу от шоколада; после нескольких рюмок Гале стало казаться, что пахучая елочка все это сама нарожала — и фрукты, и шары, и даже серебряную с золотом пику на макушке. Тут же, под нижней лапой был и Дед Мороз в красном с белом зипуне — тоже с бородою. Когда зять пошел на кровать, Галя всё сестре рассказала. Они стали прикидывать, хорошо ли, что Галя уже не целая, и не отпугнет ли это социолога: хоть и городской, но мужики все одинаковые. Тогда сестра и предложила сходить к соседской бабке-знахарке, той самой, у которой много лет назад угорел дед.

Решили не откладывать. Бабка запросила десять рублей. Отвела Галю за занавеску, вела снять трусы, ноги развести, и что-то быстро и ловко сделала, будто прижгла, но Гале было почти не больно — может быть, после «Имбирной». Когда вышли на крыльцо, солнце садилось, голова сугроба напротив отдавала краснотой, и сестра сказала, что бабка двум ее подругам хорошо помогла, крови было много, ни один из мужей ничего

не заподозрил. Галя пришла домой и стала ждать Нового года — сама новая; сидела перед телевизором, ничего не слыша, думала про платье и туфли: правильно сделала, что взяла, не пожалела везти.

На усадьбу отправились, как только генеральный секретарь всех поздравил на всю страну и отбили свое куранты. Ехали шумно, пели на морозе так, что все осипли, и Галинин зять не опрокинул прицеп, хоть это часто случалось. В клуб ввалились весело, многих еще не было, их деревня была ближе других, и Галя заново покрасила лицо, ресницы, губы, подвела глаза и переобула валенки. Еще она подушилась за ушами и брызнула под мышки из баллончика, как научила ее продавщица в универмаге, хоть нового платья было жаль. Зато запах будет.

Социологи появились, едва в рубке завели музыку, Галинин точно был с бородой и усами, в очках, интеллигент, и сразу выбрал ее: она была самая красивая, и от нее лучше других пахло.

Он дышал тоже не «Имбирной», а поди коньяком, танцевал ловко, левую руку с зажатой в ней галиной кистью отставив далеко, как в бальных танцах, а правой взяв ее за зад так крепко, что она задохнулась. — Ты в трусах? — спросил. Галя удивилась, с чего б ей быть без трусов, сказала «да». — Ваши многие без трусов ходят, — объяснил социолог. — Тебя как зовут? — И, когда она ответила, тоже сказал свое имя: Сережа. И Галя подумала, что девки совсем стыд потеряли, но это, конечно, не из их деревни, оттуда без трусов пока до клуба доберешься — вся обморозишься, — усадебные... Когда они отдыхали между танцами, сестра шепнула, чтоб Га-

ля сразу ему не давала, а то он еще Бог весть что подумает, но Галя заметила, как социолог, танцуя, все шарит кругом глазами, девок-то у них на деревне раза в три больше, чем парней, да и те, что есть, робкие, девки танцуют все друг с другом, и решила, что, мол, там посмотрим.

Смотреть пришлось недолго: Сережа пригласил ее танцевать еще раза два, потом позвал пить шампанское в комнату для отдыха, где социологов поселили. Тут поставили раскладушки, на которые положили матрасы, и Галя подумала, что здесь ему не даст, иначе казенные матрасы будут все в ее крови. Они выпили сразу по два стакана, и он ее поцеловал так, как татары никогда не целовали: распялил ей рот и залез внутрь своим длинным языком под самый корень ее языка, и внизу у нее стало тепло и сыро. Потом повернул к себе задом, привалил грудью на стол, задрал платье и спустил вниз трусы и колготы. Галя мельком подумала, что он тоже боится за постель, хотя откуда он знает, что она — целка, а сам в крови пусть запачкается, и закрыла глаза. Он возился сзади, что-то примеривая, раздвигая скользкими пальцами, будто они были в мыле, и Галя почувствовала, как он тычется не туда, хотела подсказать путь: мол, нужно ниже, — но вспомнила вовремя, что — еще девочка. И тут он напер, она вскрикнула «не надо», и не потому, что приготовилась кричать, было и впрямь очень больно, больнее даже, чем в самый первый раз. Потом стало тепло, как никогда не бывало, и она почувствовала, что он уже где-то в самом ее животе. Чувство было совсем новое, и она не сразу поняла, что он попал ей в самый зад — она и не знала никогда, что так вот

запросто можно туда вставить. Она забилась, но тут он вскрикнул, задергался, стало еще теплее, и он ее отпустил.

Одевались молча, вернулись на танцы. Было жаль, что бабкин труд пропал даром, и десяти рублей, но ведь так и впрямь она была с парнем в первый раз, он должен был почувствовать. Она ждала, что они еще потанцуют, но Сережа пригласил другую, в ее сторону больше не смотрел, а потом ушел в заднюю комнату с одной дояркой, которую только ленивый не имел, потому что ее муж третий год как сидел в тюрьме.

Галя не плакала. Конечно, ей было стыдно перед девками, когда шли по дороге обратно — зять напился и заснул в кабине своего трактора, а сестра осталась с милиционером, — и Галя сказала девкам, что социолог дал ей свой телефон в городе и подарил кассету с Майклом Джексонем, но она ее у него забыла, когда встретятся — заберет. А сама подумала, что недаром банник ее именно по жопе гладил, и что она просто неверно все истолковала. И еще она волновалась, как объяснит братьям-татарам, что опять девочка.

Позже она гадала еще два-три раза, один раз на майские, другой на восьмое марта, — с зеркалом и на картах, — но такого точного гадания, как тогда, больше никогда не было, выходило черте что, не разберешь. Так что она загодя так и не узнала, как много всякого ждет ее впереди в долгой жизни. Что татары той же весной решат продать ее своему дяде, что она от них сбежит, а потом выйдет за младшего лейтенанта. Они с лейтенантом останутся в городе, у них будет дочь, лейтенант принесет мандавошек, потом уволится в запас и

ее бросит; она же получит комнату в Беляево-Бородском, а вторую, пустую, райисполком ей так и не отдаст; дочь кончит школу, выучится на курсах и будет работать в казино — крупье, а сама она останется на базе, и у нее будут еще несколько, но так глубоко, как тогда в клубе, уже ни с кем никогда не будет. Потом она заскучает, и даже Новый год примется встречать одна, и никого уж водить не станет, хоть дочь и уедет от нее: получит свою комнату, но замуж не выйдет. И Гале будет хорошо, она купит на ярмарке шелковый в драконах китайский халат на вате, будет вязать, по субботам до десяти смотреть телевизор, а потом спать, спать...